

Режим доступа: <http://www.southstar.ru/ind.php?c=print&id=248>



► Загружено: *Среда 23 Апрель 2014 - 10:21:16*

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ № 1(18)

[Share on facebook](#) [Share on vk](#) [Share on twitter](#) [Share on odnoklassniki_ru](#) [Share on livejournal](#) [More Sharing Services 0](#)

Немченко Гарий

ВОЛЬНЫЙ ГОРЕЦ

«И как верен его отклик, как чутко его ухо! Слышишь запах, цвет земли, времени, народа. В Испании он испанец, с греком - грек, на Кавказе - вольный горец в полном смысле этого слова...»

Н. В. Гоголь об А. С. Пушкине

Не знаю, что стало скрытой первопричиной этих

документальных рассказов.

То, что около тридцати лет назад в Подмоскowie, недалеко от Захарово, приобрел избу, принадлежавшую одному из потомков Арины Родионовны?.. Что за один из своих рассказов - «Воспоминание о Красном Быке» - получил московскую премию имени Пушкина?.. Что перевел роман своего старого друга адыгейца Юнуса Чуяко «Милосердие Черных гор, или Смерть за Черной речкой» - по сути первый черкесский роман о Пушкине?

Или все началось гораздо раньше: в родной станице Отрадной, в школьном «Литературном обществе», которое создала тогда наша добрейшая и деликатнейшая Юлия Филипповна Беднягина, горячая почитательница поэзии Пушкина?

Не знаю: так вышло.

Но как хорошо, что этот цикл окончательно сложился накануне вроде бы мало примечательного юбилея - двухсотой годовщины с тех пор, как Мария Алексеевна Ганнибал стала владелицей двухэтажного особняка в селе

Захарово. Как впервые привезла туда внука, который потом, с 1805-го по 1811-й год, каждое лето проводил в имени бабушки.

На земле, которой больше всего обязан тем, что стал великим национальным Поэтом.

Пушкин в Отрадной

В журнале шло обычное заседание редакционной коллегии, и в самом конце его главный редактор в дружелюбной своей манере напомнил: не будем, мол, забывать, что начался «Год Пушкина», и публикации об Александре Сергеевиче хорошо бы давать из номера в номер. Обвел всех взглядом, остановился на мне, и, пока с нарочито серьезным и в то же время чуть ироничным вниманием меня разглядывал, а я, охотно соглашаясь с ним, молча и с пониманием кивал, один из заместителей, мой старый товарищ, с усмешкой подначил: «Дай ему волю! Напишет: «Пушкин в Отрадной».

Тут странная такая история: о чем бы в последнее время не писал, непременно упомяну родную свою станицу. Даже в самой крохотной статейке найдется ей не то что подходящее - как бы даже законное место. Не исключено, дает себя знать неосознанная тоска по временам далекого и, кажется теперь, безоблачного детства, в котором, бывает, укрываешься, оставаясь сидеть за рабочим столом, - подобно тому, как ночью, поудобнее в постели устраиваясь, находишь, наконец, эту позу, со склоненной к груди головой и прижатыми чуть не к подбородку коленями: «утробное бегство». Может быть, разгадка в другом: нынешняя непреходящая тревога за ближних и дальних и боль за Отечество, хочешь или не хочешь, то и дело извлекают из глубин подсознания постоянно, как сердце, пульсирующее там: родина, родина, родина!..

Это предположение пришло теперь, когда начал писать о Пушкине и Отрадной, но тогда, в редакции, я рассмеялся так искренно и сердечно, как, может, давно уже не случалось смеяться. «Поверь, - воскликнул, вытягивая руку к моему насмешнику, - что именно этот заголовок я и поставлю!» Тоже невольно рассмеявшись, он отмахнулся от меня, как от человека конченного: «Дарю!»

До вечера я ходил в предвещавшем удачу счастливом юношеском возбуждении. Нет-нет да и потирал пятерни, а то вдруг негромко подушками ладоней прихлопывал. «В Отрадной, - бормотал. - Пушкин!.. А вы думали? «Пушкин в Отрадной». А?!»

Дома, едва переступив порог, двинулся к полке, где стояли пушкинские тома, нашел нужный, принялся торопливо листать... все так, верно!

Вот оно, из «Путешествия в Арзрум»: «Наконец, увидел я Воронежские степи, свободно покатился по зеленой равнине и благополучно прибыл в Новочеркасск, где нашел гр. Вл. Пушкина, тоже едущего в Тифлис. Я сердечно ему обрадовался, и мы согласились путешествовать вместе. Он едет в огромной бричке. Это род укрепленного местечка; мы ее прозвали

«Отрадною». В северной ее части хранятся вина и съестные припасы; в южной - книги, мундиры, шляпы, etc, etc. С западной и восточной стороны она защищена ружьями, пистолетами, мушкетонами, саблями и проч. На каждой станции выгружается часть северных запасов, и таким образом мы проводим время как нельзя лучше».

Вы разочарованы? Погодите-ка!

От нынешних наших горьких бед, от печального неустройства, от мелкой политической колготы и облепившей чуть ли не всех нравственной грязи, которой за прошедший век кто только к нам не натаскал, попробуйте хоть на эти минуты, пока будете держать в руках текст, мысленно выйти на свежий воздух счастливого для России девятнадцатого века.

Александр Сергеевичу в ту пору вот-вот должно было исполниться тридцать, он в самой силе и давно уже в славе. Он уже не тот гусарствующий вольнодумец, который мог позволить себе и двусмысленную улыбку в беседе с Господом Богом, и колкую насмешку в адрес Его помазанника, наместника Его на земле. Император уже сказал свое знаменитое: «Пушкин - мой!» - и это не было следствием изворотливого ума поэта, то был осознанный выбор верного судьбе Отечества сердца. И тут бумерангом возвращается из юности скандальная слава «Гавриилиады», он снова вынужден объясняться с Государем и в письме к нему даже взять второй, получилось, грех на душу: определенно отказаться от авторства.

Именно в это время выходит в свет второе издание «Кавказского пленника», которое наверняка не только воскрешает в его душе дорогие видения, но и придает им иной, тоже державный смысл.

Десяток лет назад совсем еще юная его Муза «к пределам Азии летала и для венка себе срывала Кавказа дикие цветы». Но уже тогда прозвучит в эпилоге и твердый голос воина: «Поникни снежной головой, смирись, Кавказ: идет Ермолов!»

«В Ларсе остановились мы ночевать, - напишет он впоследствии в своем «Путешествии». - Здесь нашел я измаранный список «Кавказского пленника» и, признаюсь, перечел его с большим удовольствием. Все это слабо, молодо, неполно, но многое угадано и выражено верно».

Конечно же, прежде всего это - об «ощущении» Кавказа. Но, без сомнения, - и о Ермолове тоже.

Вернемся к первым строчкам «Путешествия в Арзрум»: «Из Москвы поехал я на Калугу, Белев и Орел и сделал таким образом 200 верст лишних, зато увидел Ермолова».

Через полтора года бьет грозного генерала раз за разом - потому что опытные в решении национального вопроса партийные чиновники повелят заранее изготовить с запасом, сразу несколько копий, - взрывали еще в довоенной Чечне, а во время войны его именем был назван добровольный казачий батальон, не посрамивший имени Алексея Петровича. Листая «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона, нашел в биографии Ермолова фразу о том, что он

«присоединил к русским владениям Абхазию, ханства Карабагское и Ширванское».

Так вот, в Орел, к опальному генералу, предсказывавшему войну с турками, но не услышанному во дворце и потому вынужденному подать в отставку, поэт заезжал в надежде из первых рук получить особенное знание того края, куда он держал путь, когда война уже началась, и заодно как бы взять благословение бесстрашного генерала - это станет очевидным из того, как вел потом себя Пушкин на Кавказе «в виду неприятеля».

Но это будет чуть позже, а пока попытаемся представить то чувство вольной воли, которое должен был он испытать, вырвавшись, наконец, еще в марте из Петербурга, а спустя месяц из Москвы, - представим предвкушение встречи со старыми, служившими на Кавказе его друзьями, и то радостное возбуждение, которое наверняка нарастало по мере того, как приближалась цель путешествия и постепенно брала свое встречающая его щедрая весна и все более припекавшее южное солнышко.

Снова опередим Александра Сергеевича на пару недель - встретим его уже в Тифлисе: «Ежедневно производил он странности и шалости, ни на кого и ни на что не обращая внимания. Всего больше любил он армянский базар, - торговую улицу, узенькую, грязную и шумную... Отсюда шли о Пушкине самые поражающие вещи: там видели его, как он шел, обнявшись с татаринном, в другом месте он переносил в открытую целую стопку чурехов.

На Эриванскую площадь выходил в шинели, накинутой прямо на ночное белье, покупая груши, и тут же, в открытую и не стесняясь никем, поедал их... Перебегает с места на место, минуты не посидит на одном, смешит и смеется, якшается на базарах с грязным рабочим муштайдом и только что не прыгает в чехарду с уличными мальчишками. Пушкин в это время пробыл в Тифлисе, в общей сложности дней, всего лишь одну неделю, а заставил говорить о себе и покачивать многотумно головами не один год потом». Это из воспоминаний, собранных Викентием Викентьевичем Вересаевым в его интереснейшей книге «Пушкин в жизни», имеющей подзаголовок: «Систематический свод подлинных свидетельств современников». Привел же я его для того, чтобы вместе мы попытались увидеть поэта еще в дороге, в той самой, чуть ли не на Ноев ковчег, судя по всему, похожей бричке, которую вместе с милым его сердцу попутчиком, графом Владимиром Алексеевичем Мусиным-Пушкиным они назвали Отрадною.

Граф, дальний родственник Александра Сергеевича, был на один год старше, и у него тоже имелись все основания необычайно радоваться путешествию. Еще недавно он, член Северного общества декабристов, пережил сперва заключение в крепости и после милость Государя: разжалованный из гвардейцев, сначала был переведен в армейский Петровский полк, а потом получил назначение в Тифлис - тоже в «пехоту». И вот вдвоем они едут к верным своим товарищам!

Уж коли дали они столь одухотворяющее название просторной бричке Мусина-Пушкина, то, можно с полной вероятностью предположить, не один раз и не два обыгрывали его потом и в шутках да остротах, и просто в бытовой речи: мол, как тебе в моей Отрадной, дорогой Александр?.. Суший рай, любезный Владимир, эта твоя Отрадная, суший

рай!.. Надеюсь, тебе и впрямь в ней удобно?

Тут, пожалуй, самое время напомнить, что вокруг станицы Отрадной раскинулись еще несколько с такими же благостными названиями, и одна из них как раз именуется Удобною. Неподалеку от нее в нашем Предгорье лежат также Спокойная и Надежная, Изобильная и Благодарная, Бесстрашная и Отважная. Только в таком вот чисто вспомогательном, как бы подчеркивающем исключительное значение Отрадной, смысле могли быть они тогда, пожалуй, славным нашим поэтом и его спутником упомянуты.

Если бы вы могли знать, как пылко и горячо люблю я исхоженный с мальчишеских лет весь наш приткнувшийся к подножию двуглавого Эльбруса закубанский куток с его живописной долиною по Урупу, с плоскими холмами и крутыми катавалами, упрямо взбирающимися по обе стороны от нее на водораздельные хребтины Лабы и Большого Зеленчука... Уже достаточно много по белу свету поездивший, я твердо знаю, что мало найдется на земле мест красивее наших, богаче и щедрее наших и, все чаще думается мне, - беспризорнее.

В середине прошлого века это был один из самых мощных русских форпостов на Кавказе: детство мое прошло под рассказы прабабки Татьяны Алексеевны о стародавних временах, когда девок, идущих по воду на Уруп, непременно сопровождали пешие солдаты, а то и казаки верхами, - иначе могли украсть. После большой, сплотившей нас всех войны и общей над фашизмом победы рассказы эти казались нам, возраставшим под «солнцем сталинской Конституции» комсомольцам, как бы не очень приличными: ясное дело, что во времена седой старины случалось всякое. Кто прошлое помянет - тому глаз долой!

Но с нами произошло худшее, что только могло произойти: мы прошлое забыли.

Вслед за первой войной, за «германской», вслед за братоубийственной Гражданской, за беспощадным и целенаправленным истреблением времен расказачивания - раскулачивания и всеобщим голодом тридцать третьего года жертвенная Отечественная стала последним, унесшим работников да защитников нашего Предгорья жестоким укусом.

Может, замкнулся некий очередной круг возмездия в наших от века беспокойных краях? Бесславно заканчивается великая миссия России на Кавказе вообще?.. Или издавна привыкшее к дальним отзвукам боя чуткое ухо горцев снова насторожил некий, словно из тьмы веков доносящийся, древний зов, который на этот раз может стать предвестником трагической вселенской подвижки ведущейся все пока тихой сапой третьей войны?

Так, нет ли - наш предгорный форпост давно уже сдан, и лишь неписанные правила мародерства не позволяют новым аульским да городским абрекам разбойничать днем: по наводке старых станичных хитрованов, в районном масштабе часто весьма высокопоставленных, грабят и угоняют скот пока только ночью.

На уникальной минеральной водичке, уже разведанные запасы которой куда больше, чем на знаменитых Кавминводах,

на горячих как кипятки подземных водах - термальных, среди редчайших лекарственных трав и реликтовых кустарников предальпийских лугов, где пастись бы тучным стадам и табунам выгуливаться, оцепенел наш Богом забытый угол в похмельно-тяжкой дремоте, в страхе и в нищете. Мертвая вода давно тут сделала свое дело, а живую, за которой только нагнись, никто так и не возьмется братьев и сестер своих окропить...

Но мы не о нас. Мы - о Пушкине.

Само собой, ехали они с графом по правому, по высокому берегу Кубани, по знаменитым, вроде Усть-Лабы, хлебородным, по золотым всего лишь десяток лет назад пшеничным местам, но разве такими, как нынче, были они в ту пору?.. Не будем забывать, что особое очарование кубанским степям встарь придавали древние курганы: недаром же «курган» - одно из ключевых слов и в «кавказских» стихах Пушкина, и в «Путешествии в Арзрум». Но разве сохранились они нынче на правом берегу? Почти всюду раздавлены тяжелой техникой, распаханы, разглажены, окончательно заупокоены, совсем исчезли среди прямоугольных да квадратных полей. Это ведь только на наших закубанских неудобьях курганы пока и остались! А весенний адонис, лимонно-желтый да пурпурно-алый горичник, наш лазорик, которому самая пора ярко пылать в начале мая? А темно-голубые ирисы, петушки наши, кочетки - как раз в это время они и распускают баранчиком острые свои высокие стрелки. Кто еще, как не вы, милые мои земляки из всех предгорных станиц, может представить себе картину почти бесконечных разноцветных островов и длинных проливов между ними, этих пятен и латок, то и дело меняющих оттенки на боках да на макушках ближних и дальних холмов под набегавшими на них прохладными облаками и вдруг пробивающим облака и мгновенно сжигающим тень от них яростным солнцем. Сказочна в первые майские дни наша почти не тронутая пока степь, поистине сказочна!

Можно предположить, как посреди дороги, петляющей между высокими, с чупринами терновника на макушках, курганов останавливались наши путешественники и по вполне понятным причинам, и нарочно останавливались: для полноты души хорошенько оглядеться окрест... Как слушали жаворонков, тоненько кующих звонкое серебро в притихшем небе, как ловили внизу неуверенное в начале весны перепелиное «пить пойдем?», как глядели вслед убегающим по невысокой еще траве голенастым дрофам - серым дудакам, которых много было в закубанских степях даже во времена моего послевоенного детства.

Если даже в наших, по тем или иным причинам огрубевших сердцах, специально нынче отучиваемых радоваться красоте Божьего мира, вид майской степи вызывает чуть ли не слезы умиления, то как должна была отозваться на него чутко настроенная поэтическая душа? И если изгвазданного машинным маслом, черного, как шахтер, от пыли, усталого тракториста, если разомлевшего в минуту отдыха пастушка либо праздного, каким тут чаще всего сам я бывал, отпускника неодолимо тянет в такие дни посидеть в придорожных «кушарях», а то и полежать, якобы бездумно глядя в высокое небо, а на самом деле - наполняясь его бесконечно загадочною высью, то неужели наших славных соотечественников миновала тогда чаша сия?

Сдается мне, что «часть северных припасов» они «выгружали» не только «на станциях», но и посреди кубанской степи,

рядом со своею «Отрадной».

Наверное, Александр Сергеевич отлучался за чем-либо к своему тарантасу, который следовал за бричкой Мусина-Пушкина, может быть, слегка там задерживался, и тогда граф с улыбкою поторапливал: «В «Отрадную», Александр! В «Отрадную»!..»

Потом они наверняка остановились на высоком берегу Кубани, не доезжая станицы Прочный Окоп, на том самом взгорке, где возвышается нынче памятный знак в честь Пушкина: тут, и правда, не остановиться нельзя. Какой распаивается перед тобой окоем, какой вид открывается на речную излучину, за которой и нынче зеленеют перелески, и легкое марево дрожит теперь над просторно разбросавшимся вдалеке городом Новокубанском - тогда на его месте был Каплановский аул: аул Каплан.

Вились ли над саклями дымки? Какие звуки доносились из реки, где пасли свои отары и горячили конские табуны всегда готовые к войне мирные черкесы?

В 2004 году, в самом начале мая, мы долго стояли над Кубанью вместе с моим старым другом, как раз и поставившим этот памятный знак, - Володей Ромичевым, давно уже, конечно, Владимиром Михайловичем. Он коренной сибиряк, чалдон, но вот поди ты: мы с ним как будто поменялись местами. На Кубань он уехал в шестьдесят четвертом, когда в Новокузнецке, на нашем Запсибе, пустили первую домну, а я оставался там еще чуть не десяток лет и постоянно потом туда возвращался, жил по несколько месяцев, так что в конце концов вышло: я там, бывало, позванивал его родне, передавал приветы с Кубани, а он мне рассказывал тут о наших отраденских новостях. Отсюда до нас меньше ста километров, и Ромичев, полжизни проработавший начальником «Межколхозстроя», а потом ПМК - передвижной механизированной колонны, постоянно бывал в Отрадной, дружил с моими однокашниками, тоже строительными воротилами, и нет-нет да подбрасывал арбузов моей родне: новокубанцы всегда привозили их менять на «горскую» нашу, вкуснее которой нет, картошку.

Бетонный этот, без лишних затей, облицованный плитою под мрамор памятный знак с фамилией поэта и цифрой «1829» друг мой поставил наверняка между делом, после сдачи какого-нибудь животноводческого комплекса и перед началом строительства сахарного завода, - так живем, это ясно, но когда стоял тут со старым товарищем, литератором, само собою, расчувствовался: «Я тебе честно скажу: эта горка для меня все и решила. Одно дело, что базары тут по станицам против наших сибирских куда богаче и цены подешевле. Что воздух тут не то что наш «Коксохим»: весной да осенью хочешь - дыши, а хочешь - пей, такой сладкий. Но когда на обрыв на этот заехал да глянул на Кубань - такая, и правда, красота! Ну, чем тебе не Сибирь? Чем тебе не Горная Шория?»

Чего еще от него, от неисправимого чалдона, ожидать! Давно уже и заслуженный строитель, и почетный гражданин своего Новокубанска, а все «в Сибирь смотрит»!

Я только рукой махнул: «Скажи честно, вы ради какого Пушкина тут стараетесь?.. Ради Александра Сергеевича? Или?..»

Дело в том, что глава администрации Новокубанского района - тоже Пушкин. Виталий Владимирович. Чем ближе пушкинский юбилей, чем чаще произносят по радио либо по телевизору фамилию славного поэта, тем больше шуток в Новокубанском районе слышится.

Тут любопытная такая история: новокубанский Пушкин - демократ. Записной. Так и хочется сказать: настоящий. Не из тех, что решили сперва все разрушить, а потом в который уже раз с чистого листа начать, нет. Став главою по сути после первого секретаря райкома партии Андрея Филипповича Недилько, одного из самых уважаемых в прошлом, самых маститых на Кубани хозяйственников, Пушкин взялся энергично противостоять всякому даже маломальскому разрушению, а где возможно было, попытался общий, народный, само собою, успех и приумножить. Упрямое желание во что бы то ни стало идти вперед по нашим-то непростым временам оборачивается всего лишь замедлением отступления, да что делать? Но держится Новокубанка по сравнению с остальными, еще как держится!

Никого Пушкин не снял и не задвинул, никого из своих дружков на их место не посадил. По-прежнему свято блюл неписаную районную традицию: перед посевной всем управленческим корпусом, с женами и детьми, ехать на ипподром в Нальчик поболеть за великолепных скакунов знаменитого новокубанского «Восхода», а по окончании «поля», когда урожай уже в закромах, - собирать на Черноморском побережье вольный председательский да директорский «мальчишник». Право на него зарабатывают новокубанские начальники трудом поистине беззаветным и тяжким, трудом каторжным - это правда. Зато кругом упадок и повес головы, а в Новокубанке - чуть ли не «послесовдеповский» рай, и «красно-коричневый», на котором больше негде «капээрэфовской» пробы ставить, «сталинист» и «антисемит», как только кубанская земля такого носит, «батяка Кондрат», само собою, идеологический противник Пушкина, заезжает иной раз к нему просто по пути: по-отечески обнять и душою отдохнуть.

Но не только ведь на привесах да на удоях держится в Новокубанске авторитет Виталия Владимировича Пушкина. Давно уже собираюсь о нем написать и все с неостывающим интересом размышляю. До чего-то главного пытаюсь додуматься, а он все остается загадкой для меня. Кроме располагающей внешности, кроме обаяния, которым Господь Пушкина не обделил, в чем же, думаю часто, еще секрет? Душе радостно, когда среди чуть ли не бесконечной череды ловкачей с жуликоватыми глазами встречаешь вдруг человека со спокойным достоинством во взгляде. Неужели и это теперь большая редкость?

Несколько лет назад, когда все у нас принялись делить, все приватизировать, на просторном выгоне под Новокубанском один за другим стали вдруг приземляться легкие спортивные самолеты и выдавшие виды «кукурузники». Глава администрации сел в машину и помчался с неожиданным этим десантом разбираться: что за новости? Оказалось, это нальчикский аэроклуб, в полном летном составе и при всей «матчасти».

«Нас хотели раскупить, - стал объяснять Пушкину глава клуба - седой пилот со шрамами на лице и с искореженной левой рукой. - Но мы не продаемся. Не для того мы разбили немца. Примешь - останемся у тебя, начальник. Нет - нет.

Россия большая - дальше полетим. Только подзаправимся. Горючка у нас с собой. Все с собой». За ним в ожидании стояли пилоты помоложе и летчица, дочь руководителя аэроклуба. Из «кукурузников» все продолжали спускаться на выгоревшую траву женщины и выпрыгивать детишки. «А летать научите?» - спросил Пушкин. И протянул старшему руку.

Через два или три года Пушкину не понравилась одна из передач ОРТ, в которой, как он считал, оскорбляли русских, и он дал резкую телеграмму на имя президента. Через неделю в Новокубанск приехали комментатор с телеоператором ОРТ с явным намерением чего-нибудь этакого «накопать» и показать, кто в России хозяин. «К сожалению, мы не можем взглянуть на весь ваш район», - со значением начал комментатор. «Отчего же? - возразил Пушкин. - Часок найдется?» Привез столичных гостей на выгон за городом, посадил в кабине самолета рядом и запустил мотор. Они облетели сперва новокубанские земли, потом забрали вглубь на запад: Пушкин заодно решил показать предгорные Лабинский, Мостовской и Отраденский районы, которые с недавних пор входят в возглавляемую им ассоциацию Юга Кубани.

Не только своего брата, местного жителя, поражает вид этих благодатнейших окрестностей с высоты птичьего полета, не только!

Москвичи попросили уделить им еще три-четыре денька, ходили за Пушкиным как привязанные и сделали потом достойную и честную передачу о Новокубанском районе: по нашим-то временам - разве не подвиг?!

Когда стояли с Ромичевым у памятного камня над Кубанью, мы тоже насчет обоих Пушкиных слегка поерничали: мол, ясное дело! Вот вам живое доказательство того, что Александр Сергеевич, и точно, проезжал по нашеним местам, - новокубанский мэр, сохранивший, несмотря на все исторические передрыги в России, даже свою «родную» фамилию!

Но это все шутки.

Не все же нам горе горевать!

А неистребимая правда, если хорошенько вдуматься, заключается в том, что по-прежнему жива не только славная фамилия - бессмертен великий пушкинский дух. Только могучий и спокойный, мятежный и вольный, приземленный до травинки под ногой и возвышающийся до звезд в небесах всеобъемлющий дух братства, которым пронизано все лучшее в русском человеке и который не дает ему, слава Богу, ни вознестись в гордыне над остальными, ни зазнаться, а все только терпеть, печалась душой над несовершенством мира вокруг и прежде всего над самим собою посмеиваясь.

Полный отраденский сирота, давно оставшийся в истончившемся роду старшим, в Новокубанке я, и правда, как будто подзаряжался всякий раз теперь ее двужилым упрямством и ее энергетическим напряжением. Надежды молодости на великое будущее родной станицы давно теперь похоронены рядом с родными могилами на кладбище неподалеку от аэропорта, куда давно уже никто не прилетает и откуда никто и никуда не летит... С нами осталось лишь то самое

рекордное даже для Северного Кавказа число безоблачных дней в году да немереное количество звезд ясной ноченькой: я думаю, самые несгибаемые из моих земляков, из станичников, непререкаемо верят, что над нашей станицей и самих звезд уж почему-либо да все равно больше. Блажен, кто верует! Старый спор о некоем главенстве в наших краях давно решился в пользу практичной и самоотверженной Новокубанки, и кроме тех слов, которые, несмотря на нынешнюю вседозволенность, ни в письменной, ни даже в устной речи я предпочитаю ни в коем разе не употреблять, крыть отраденцам больше нечем. Разве только на полном серьезе доказывать, что даже и там, на крутом обрыве рядышком с Новокубанкою, где стоит нынче памятный знак, уже не граф Мусин-Пушкин - сам Александр Сергеевич вполне мог в нетерпении воскликнуть: «В Отрадную, друг мой, поскорее - в Отрадную!»

До Прочного Окопа им оставалось всего-то несколько верст, а там Пушкина дожидался служивший в то время в знаменитой казачьей станице Лев Сергеевич, родной младший брат.

В урочный час. В нужном месте

Дело было в начале зимы.

В машине старого моего друга Бориса Шанаурова вместе со священником Ярославом Шиповым, тоже давним товарищем, мы ехали из подмосковного села Лапино в деревню Кобяково, что под Звенигородом.

В Лапине батюшка только что освятил первую на большом подворье постройку - крепкую и ладную, навек сделанную «временку» с прекрасною банькой и просторными столовой и спальней. По ним видно было, какой дом собрался, наконец, поставить себе Борис, блестящий инженер с золотыми руками, всю жизнь строивший жилье для других.

Мы с ним долго жили в Сибири, отец Ярослав начинал свое служение на Севере, в вологодской глубинке, а потому после освящения мы с толком и расстановкой, как говорится, отдали должное целительнице-парилке с непременно чайком на травах, а настроение у нас было самое благодушное, тем более, что дальнейшее наше путешествие имело целью проведать моего младшего сына, хирурга, который вдруг ударился в фермерство: все мы сочувствовали ему и, как могли, опекали, особенно хорошо знавший, что почем в наше время, Борис Павлович.

Миновали очередную развилку со множеством указателей на обочине, когда он остановил вдруг свою выдавшую виды «Ниву» и сказал, словно что-то прикидывая:

- Я гляжу: не дать ли нам тут крюка? С нашего Рублево-Успенского да повернуть на Можайку?.. На старую-то Смоленскую дорогу?

Я на полушутке откликнулся:

- Хозяин-барин! Почему бы не повернуть? Если есть такая необходимость.

- Есть, есть, - не только с загадкой в голосе, но как бы и с неким вызовом сказал Борис Павлович и повел головой, на миг оборачиваясь к сидевшему позади священнику. - Вы никогда, батюшка, не были в Захарове?

- Не был, - откликнулся отец Ярослав.

- Вот и заедем сейчас на минутку-другую, - решил Борис Павлович.

И только тут я подхватил:

- А ведь - правда! И как сам-то я не вспомнил?

Тут надо сказать, что отец Ярослав давно уже был известен как духовный писатель, прекрасный прозаик с языком родниковой чистоты - его небольшую книжечку рассказов «Отказывать не вправе» читающие добрые люди передавали буквально из рук в руки. Потому-то Борис Павлович и взялся надо мною насмешничать:

- Удивляюсь я вам, братья-литераторы... Нет другу предложить: давай, Павлович, завезем батюшку в Захарово, пусть он постоит на том месте, где Александр Сергеевич мальчишкой бегал. В самом, можно сказать, впечатлительном возрасте. Где он возрстал, как вы, писатели, любите говорить, в доме у Ганнибалов...

- Почему это - мы? - пробовал я возражать. - Ты тоже вот говоришь.

- Я не только говорю, - не отступал мой друг. Нарочно на сиденье откинулся, показывая нам баранку своего «внедорожника». - Я - делаю!

- Молодец ты, что вспомнил, - похвалил я его совершенно искренне. - Действительно молодец!

Как-то в конце лета мы с ним по моей просьбе заезжали в Захарово. Черные стволы столетних лип вокруг большой открытой площадки, где когда-то стоял давно сгоревший дом Ганнибалов, снизу были обвязаны свежими досками, и я обрадованно сказал:

- Ну, наконец-то!.. Скоро строить начнут.

- Держи карман шире, - ворчливо проговорил еще молодой мужчина, собравший в одной руке веревочные поводки с тянувшими в разные стороны козами и длинный пруттик в другой. - Спасибо, что хоть с деревьев доски не посдирали -

тех, что рядом сложили, уже давно нет. То они сгорят, то их украдут!

- А сам небось не поспел - теперь переживаешь, - с нарочито грубоватой усмешкой сказал Борис.

- При чем тут я? - обиделся козопас.

- Ну, не я же к вам сюда за этими досками приезжал! - урезонил его Борис. - Вы тут небось «под Пушкина» уже не одну избу задарма поставили...

- Да кабы ж - мы! - вгорячах проговорился случайный наш собеседник.

Друг мой, которого и в молодые годы отличал от многих из нас здоровый практицизм, спросил уже сочувственно:

- Подменяешь небось хозяйку? Вот и ворчишь.

- Как не ворчать? - миролюбиво согласился мужчина, оглядывая свой приличный костюм, для пастушества явно не предназначенный. Поддернул поводок и поиграл прутиком. - Известное дело - козы. Только и жди от них!

Но доски от лип и впрямь отодрали: когда мы с Борисом заехали сюда через какую-то недельку - их как не бывало!

- Неужели так-таки не успеют? - горевал я, когда мы шли обратно к машине.

- В очередной раз украсть, что ли? - насмешничал мой друг.

- Да ну тебя! - пришлось отмахнуться. - Я серьезно...

- А я - нет, что ли?

Надвигался «круглый» Пушкинский юбилей, праздник двухсотлетия со дня рождения, и оба мы так или иначе переживали за подмосковные места, давно ставшие нам родными.

Кто не слышал о селе Михайловском?.. О Болдине с его знаменитой осенью? О Святогорском монастыре?

Захарова же нашего - ну как не было!

А ведь само собой разумеется, что главная «кладовая», тот самый неиссякаемый родничок, из которого любой творец

черпает всю жизнь вдохновение, - конечно же, его детство.

У Александра Сергеевича оно прошло в имении Ганнибалов в Захарове - недаром ведь он писал потом в юношеском «Послании к Юдину»:

«Мне видится мое селенье, мое Захарово: оно с заборами в реке волнистой, с мостом и рощею тенистой зеркалом вод отражено. На холме домик мой: с балкона могу сойти в веселый сад, где вместе Флора и Помона цветы с плодами мне дарят, где старых кленов темный ряд возносится до небосклона и тихо тополи шумят, - туда с зарею поспешаю с смиренным заступом в руках, в лугах тропинку извиваю, тюльпан и розу поливаю - и счастлив в утренних трудах. Вот здесь под дубом наклоненным с Горацием и Лафонтеном в приятных погружен мечтах...»

«Дуб наклоненный», от которого остался только высокий пенёк, все продолжает и в таком своем виде сопротивляться забвению...

...Зимний день потихоньку клонился к вечеру, наступала пора ранних сумерек, но перед железной оградой захаровской усадьбы стояли несколько легковых машин - Борис Павлович, которому пришлось искать удобное место для стоянки, проворчал даже: «Что это тут за съезд?»

Вылезли из машины и первое, что услышали, - настойчивый перестук плотницких топоров, деловитый и в то же время веселый.

Не сговариваясь, мы ускорили шаг.

Знакомая площадка посреди особенно черных зимою лип, давно заменивших клены пушкинской поры, была по краям завалена добротным лесом, а посередине ее лежал громадный четырехугольник из ошкуренных бревен: самый первый венец будущего дома. На нем здесь и там неторопливо, но споро трудились плотники, а чуть поодаль стояла группа людей явно городских, и вид у них у всех был не только озабоченный, но как бы даже слегка растерянный.

Человек из нас троих, может быть, самый общительный и самый, благодаря большой сибирской стройке, где прошла моя молодость, артельный, я сперва громко поздоровался с работавшими, сказал наше русское: «Бог в помощь!» - а потом двинулся к стоявшим в сторонке, спросил:

- Что за печаль на лицах высокого начальства?

Все они обернулись нехотя, один сухо сказал:

- Это наши проблемы.

Невольно захотелось так же, на полушутке, спросить: мол, так, значит? Считаете, другим до Пушкина и дела нет?..

Сбоку от продолжавших свой разговор мужчин, нас как бы нарочно теперь не замечавших, стояла миловидная женщина средних лет, и, уловив сочувствие в ее взгляде, я начал говорить ей что-то дружески-деликатное: мол, простите, но мы не праздные зеваки, мы - люди не чужие...

Да и кто из нас, правда что, беззаветно любящих Пушкина, ощутил бы себя здесь лишним - разве это не так?

Я представился, и женщина тоже назвалась: Наталья Евгеньевна Карташева, архитектор, автор проекта реконструкции дома Ганнибалов. Повела головой на одного из споривших:

- С мужем, мы с ним соавторы проекта, пороги обили - добивались, чтобы стройку включили в план... Всем не до того, у нас руки опустились, перестали работать, а тут вдруг, когда до юбилея осталось всего ничего, - нате вам, вспомнили! Долг чести, видите ли...

- Это кто же так?

- Гладышев, - сказала она. - Глава Одинцовского района. Александр Георгиевич.

- Ну, так великолепно, что он - об этом самом долге! - искренне порадовался я за «главу».

- Тем более - тезки! - поддержал Борис. - С Александром Сергеевичем.

- Так-то так, но нам теперь не легче от этого, - разговорилась Наталья Евгеньевна. - Тут же завезли гору материалов, чуть ли не все сразу... Бригада хорошая попалась, неизбалованная. Из Смоленска. Смоляне, говорят. Как взялись! Как навалились! Мастера - любо посмотреть. Но мы-то, мы... Из правых тут же виноватыми сделались: проектировщики, мол, ясное дело - не успевают, как всегда! А где же теперь успеть - нас даже не предупредили, поставили, как говорится, перед фактом. Хотели священника позвать, чтобы все честь по чести, и даже тут заминка вышла...

Мы с Борисом одновременно взглянули на батюшку: отец Ярослав наш прямо-таки сиял!

- Сейчас он облачится, - поторопился я за своего товарища.

- Кто, извините?

- Батюшка!

- Батюшка? - переспросила она. - А где он?

Отвечать пришлось снова мне: отец Ярослав с Борисом уже шли к машине.

Появились они минут через пять, не больше: батюшка был в своей черной рясе и с саквояжем, Борис Павлович, вытягивая руку, осторожно нес легкий, но явно непривычный для него груз - батюшкино кадило.

На угол из ошкуренных бревен отец Ярослав поставил свой саквояж, начал доставать из него необходимые для священнодействия предметы: требник с крестом, флакон с освященной водой, кропило.

- Придется тебе пономарить! - сказал мне с веселой строгостью. - Надеюсь, не откажешься? Тогда разведи огонек, приготовь кадило... Помочь? Или сам справишься?

Борис Павлович деловито достал из кармана куртки фотоаппарат, туда и сюда зашагал, примериваясь:

- Шутка шуткой, а момент-то ведь и действительно исторический!

И вот уже плотники хоть и не очень умело, но усердно крестились, стоя дружным рядом, а топором ударял по бревну произносивший молитву батюшка: входило в древний обряд.

- Основается дом сей! - раздался его трогательно-торжественный голос.

Запахло, как в храме, сладким дымком, ветер тут же отнес его, и мужчины перестали спорить и тоже подошли к нам: лица у них были сперва такие, словно делали нам одолжение.

- Основается дом сей! - снова радостно воскликнул отец Ярослав, окропляя бревно на венце и торчавшие лезвием в нем топоры.

С кропилом направился к плотникам, и они сосредоточенно посерьезнели, заранее зажмуривая глаза и улыбаясь одними губами.

- Основается дом сей - во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа! - в третий раз пропел-проговорил отец Ярослав.

...Когда мы сели в машину и от захаровского парка вновь выехали на Звенигородское шоссе, Борис Павлович сбросил скорость и, вполоборота взглядывая на отца Ярослава, спросил с упрямым сомнением:

- Как же это, батюшка, понимать? Когда предложил в Захарово завернуть, я ведь ни сном ни духом, как говорится...

Отец Ярослав, на лице которого все еще плавало тихое умиротворение, положил руку ему на плечо:

- Для нас это обычное дело... Господь всегда так устраивает, чтобы священник оказался в урочный час в нужном месте.

- Да вот... если бы не сам за рулем, - словно не договаривая чего-то, медленно продолжал мой ни в сон, ни в чох не веривший друг. - Если бы не сам... сказал бы: присочинили... придумали.

- Как видите, придумывать ничего не пришлось! - мягко, но не без торжества подтвердил отец Ярослав.

- А я, выходит... - снова начал подбирать слова Борис Павлович. - Как бы и не я это предложил. Заехать в Захарово.

Батюшка дружелюбно рассмеялся, явно довольный ходом размышлений моего старого друга:

- Вы слышали...

- Хорошо, хоть услышал! - пробовал отшутиться Борис.

- Прислушивайтесь, прислушивайтесь, - мягко наставлял батюшка, поглядывая и на меня тоже. - С удивительным постоянством происходит такое не только с нами. Касается всех, кто воцерковлен, кто в вере крепок. Господь ведет таких. Нужен - окажешься в нужном месте. В тот самый час, когда это необходимо - край, как говорится. Либо самому тебе, либо кому-то другому, кого в этот час помощь твоя поддержит, а может быть, и спасет. Начните примечать, вы начните...

С тех пор прошло около двух лет.

Если нам случается ехать по Звенигородскому шоссе, Борис Павлович без лишних слов поворачивает к Захарову, и мы с ним, если нет времени зайти во все еще новенький, успевший вырасти тогда к пушкинскому празднику дом Ганнибалов, хотя бы обходим вокруг него: дойдем, бывает, до озера, чтобы взглянуть на «зерцало вод» и на сидящего теперь

неподалеку от него бронзового подростка - Пушкина.

Всякий раз, поглядывая на вековые деревья вокруг, на стоящий среди них дом с колоннами и с балконом, Борис Павлович сперва насмешливо ворчит как бы про себя:

- Долг чести, долг чести!..

И, поглядывая на меня, добавляет с веселым удивлением:

- Выходит - в урочный час, а?

Слуга покорный

Этим рассказом я тоже обязан своим друзьям - священнику Ярославу Шипову, призывавшему почаще размышлять и к самому себе прислушиваться, и Борису Павловичу Шанаурову.

Дело в том, что десяток лет назад, когда стало модным искать свои дворянские или какие-нибудь иные, не менее древние корни, я, грешным делом, тоже поддался искушению. Не потому, поверьте, что мне было невтерпех обзавестись благородным знаком отличия от остальных соотечественников, нет, - скорее наоборот. Желających найти свою фамилию в «Бархатной книге» русского дворянства сделалось вдруг так много, что я прямо-таки затосковал, можно сказать. Останешься простолюдином посреди всей России один-одинешенек, и на тебя начнут пальцем показывать: поглядите-ка на него, господа, поглядите!..

А кое-какие основания для поиска доказательств непростого происхождения в семейных наших преданиях имелись. Девичья фамилия моей мамы, Антонины Мироновны, была Лизогуб. Предки ее перебрались на Кубань с Украины и чтли себя запорожскими казаками. Но Лизогубы - одна из самых главных ветвей родословного дерева Николая Васильевича Гоголя. Для начала не слабо, верно?

И стал я, значит, к великому писателю потихоньку подкрадываться. Мы уже сказали благодарное слово Викентию Викентьевичу Вересаеву, собравшему интереснейшую книгу документов о жизни Пушкина. Но такого же достоинства книга, тоже включающая в себя документальные свидетельства и воспоминания современников, есть у Вересаева и о Николае Васильевиче: «Гоголь в жизни».

Принялся я эту книгу листать, и чем дальше листал, тем больше прямо-таки раздувался от гордости. На одной из первых страничек в главке «Предки Гоголя» под номером пятым значится: «Афанасий, род. в 1738 году, секунд-майор. Жена его - Татьяна Семеновна Лизогуб». Из очередных документов следовало, что отец Татьяны Семеновны «был, во-первых, родной внук гетмана Скоропадского, получивший богатые дедовские маестности, а во-вторых, это был зять

перяславского полковника Василия Танского», который «оставил Польшу в то время, когда Петр Великий вооружился против претендента на польский престол Лещинского. Он усердно служил Петру в шведской войне и занимал всегда одно из самых видных мест между малороссийской старшиною. Прадед поэта, Семен Лизогуб, происходил от генерального обозного Якова Лизогуба, известного тоже в царствование Петра Великого и его преемников».

Речь о «генеральном обозном» Запорожского войска и упоминание о «сечевицах» с острова Хортицы на Днепре, об их «вольной республике» перенесли меня в давние времена казацкой славы... Взял с полки первый том Гоголя, открыл на первой страничке «Тараса Бульбы» - и уже не мог оторваться от удивительной повести, пока не дочитал до конца. Как это все-таки здорово, когда в горькую годину снова найдешь вдруг почти забытое: «Уже и теперь чувят далекие и близкие народы: подыметя из русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая была бы непокорна ему... Да разве найдутся на свете такие огни и муки и сила такая, которая пересилила бы русскую силу!»

Чтение «Тараса Бульбы», этого торжественного гимна и казакам, и всей Земле Русской, само по себе стало главным, но как бы заодно я выискивал в нем и «нашу» фамилию, мамину - с детства помнилось, что она там вроде была... Нет! Дважды встретил одного из непобедимых героев старой Сечи - Ивана Закрутыгубу: «А у возов ворочает врага и бьет Закрутыгуба». Наверняка не слабый духом и телом был казачина! С «гоголевской» улыбкой, относящейся к собственному его родословию, - придуманный Николаем Васильевичем? Или реальный, как бы мы сказали нынче, герой?

Ведь вон как все переплелось в повести: и один раз, и другой, и третий упоминаются в ней принимавшие участие в казацких подвигах курени: «Дятькивский» и «Корсунский», «Тытаревский» и «Тымошевский», «Уманский», «Каневский», «Незамайковский»... Но ведь все это - сегодняшние названия кубанских станиц, куда переселились когда-то с Хортицы запорожцы!

Вдохновение, почерпнутое из «Тараса Бульбы», вело меня по страницам вересаевской книги дальше, и каких только сближающих наш род с гоголевским не находил я подробностей: правда-правда! Были тут и «натуры глубокие», и «художественного склада», были с «тяжелым, своевольным и вздорным характером», чуть ли не самодуры, но разве тут заодно и на самодурство не согласишься - лишь бы к Николаю Васильевичу хоть на шагок да ближе?

И вдруг на странице сто первой издания 1990 года я прочитал: «В 1829 году, когда Яким Нимченко, слуга Гоголя, выехал с ним в Петербург, Якому было 26 лет».

Само собой, что отцовская моя фамилия на украинский лад так и пишется...

Лихорадочно листал книжку дальше и через тридцать-сорок страничек нашел отрывок из письма Николая Васильевича матери, посланного в начале той петербургской поры: «Да, сделайте милость, выгоните вон Борисовича, и чем скорее, тем лучше: он научил моего Якима пьянствовать. Теперь все мне открылось, когда они вместе, Яким с Яковом и Борисовичем, ходили за утками и пропадали три дня: это все они пьянствовали и были так мертвецки пьяны, что их

чужие люди перенесли. Я Якима больно...»

Тут деликатный составитель первого тома писем Гоголя Шенрок посчитал нужным прервать цитирование письма. Но что уж тут скрывать, что? Ясное дело, что Николай-то Васильевич не по головке Якима «больно» гладил!

А вот и доказательство: «Гоголь обращался с ним, - сказано о Якиме в отрывке из литературных воспоминаний «Гоголь в Риме», - совершенно патриархально, говоря ему иногда: «Я тебе рожу побью», - что не мешало Якиме постоянно грубить хозяину, а хозяину заботиться о существенных его пользах...».

Но я-то, а? Пошел, выходит, по шерсть, а вернулся стриженным. Более того - наголо!.. Разве близкое знакомство Якима с «зеленым змием» не есть подтверждение твоего кровного с Якимом родства?

Ну, прямо как в детстве, когда друг дружке кричали: мол, что - получил?!

Дворянство-то свое липовое, дворянство?

Хоть смейся, хоть плачь.

Но разве это было не справедливо ли, если каждый из тех, кто ищет там, где не положил, нарывался бы в конце концов не то что на кукиш - на крепко сжатый кулак мнимого своего предка?

«Дворянства захотел, братец мой?» И - в ухо!

И не один бы, не два человека, хорошо заплатившие перед этим жульничающим «архивариусам» за отыскание «дворянских корней», сидели бы потом за рулем «шестисотого» своего «мерседеса» кто с пластырем на щеке, а кто с хорошеньким синячищем под глазом. Не поделом ли?

Но все-таки был Яким Нимченко не такой уж беспросветно дурною личностью - о своем «хозяине» что-то и разумел. Свидетельством тому приводимый Вересаевым отрывок из воспоминаний Григория Петровича Данилевского (Яким, слуга Гоголя, - о Пушкине): «Они так любили барина. Бывало, снег, дождь, слякоть, а они в своей шинельке бегут сюда. По целым ночам у барина просиживали, слушая, как наш-то читал им свои сочинения, либо читая ему свои стихи».

По словам Якима, Пушкин, заходя к Гоголю и не заставая его, с досадою рылся в его бумагах, желая знать, что он написал нового. Он следил за развитием Гоголя и все твердил ему: «Пишите, пишите», - а от его повестей хохотал и уходил от Гоголя «всегда веселый и в духе».

Ну, разве не трогательное свидетельство не только о дружбе двух великих сынов России, но и об их взаимном влиянии,

щедром и благодатном! И еще одно, тоже из Данилевского: «Накануне отъезда Гоголя за границу Пушкин, по словам Якима (гоголевского слуги), просидел у него в квартире всю ночь напролет. Он читал начатые им сочинения. Это было последнее их свидание».

И тут однажды, посреди этих веселых, а больше грустных, конечно, размышлений о поисках собственных корней, о своей мало кем изучаемой до меня нашей родословной, я вдруг вновь вспомнил о Володе-Паяле, у которого мы купили в нашем Кобякове избу.

Там сложная получилась история. На самом-то деле изба принадлежала не ему, а его родному дяде Алексею Степановичу Глазову, плотнику, великолепному мастеру, который срубил ее своими руками. Но поближе к старым своим годам дядя составил «дарственную» бумагу на своего племянника: для того чтобы самому иметь право на квартиру в городе - в Одинцове, да только беда в том, что Алексей Степанович не был в этом смысле первооткрывателем - поступил так вслед за другими своими дальновидными родственниками, прямо-таки «задарившими» избами безотказного Володю Семенова, у которого вскорости скопилась их чуть ли не целая деревня - кроме избы, законно принадлежащей лично ему в самом Захарове.

Шила в мешке не утаишь: конечно же, об этом прознали в милиции, и Володю уже не раз вызывали, требовали, чтобы он каким бы то ни было образом «избавился от частной собственности!.. Но как? «Оформить» бумаги на куплю да на продажу было в ту пору вообще делом очень непростым, а в Подмоскowie - тем более. Это теперь ты можешь иметь там не то что две-три избы, а хоть десяток самых настоящих дворцов. А тогда бедный Паяла мучился - в самом прямом смысле.

Появление его у нас в Кобякове всегда было и неожиданным, и торжественным, что ли - иного определения не подберешь. Жарким летом он выходил из лесу, через который вела тропинка от ближайшей станции, от Скоротова, непременно в костюме-тройке и в галстукe, выюжной зимой - в теплом пальто, но обязательно почему-то в дорогах «мокасилах». Как умудрялся в них пройти по сугробам - для меня так и осталось тайной.

Иногда он бывал самый чуток навеселе, явно, как я понял потом, «для храбрости», но от нашего угощения, как мы ни старались, всегда наотрез отказывался: хотел, видимо, чтобы визит его носил строго «официальный» характер. Начинал он всякий раз одинаково: «Опять мне пришла повестка из милиции...» Но что я мог поделать!

К кому я только не обращался за помощью, кто только в высших инстанциях обо мне не ходатайствовал и за меня не просил! Грустно это все вспоминать.

И всякий раз я мялся, виновато вздыхал, заверял клятвенно Паялу, что делаю все возможное и невозможное - тоже, но...

В один из таких своих печально-торжественных приходов он и рассказал о родстве своем с няней Пушкина, с Ариной

Родионовной, о вещах и бумагах из ее сундука и о самом сундуке, увезенном потом «учеными людьми» вслед за вещами и бумагами... По замыслу Володи, скорее всего, это должно было придать мне сил в борьбе с бюрократами и чиновниками, но дело с «оформлением» так и не подвигалось: и год, и три, и пять лет, и восемь...

Пришел однажды озабоченней прежнего:

- Выговор от парткома получил, - сказал хмуро. И по слогам продолжил: - За част-но-собствен-ничес-кие на-стро-ения...

- Извини, ради Бога! - начал я как всегда оправдываться.

- Это бы ладно, но ведь дело такое: отберут у меня избу - и у вас тоже отберут. Отдадут кому-то другому, - и руки приподнял выше головы. - И как я в это дело ввязался, как?! Эх, ты... Мне знакомые мужики говорят: плюнул бы ты на этого писателя, да и все! Отдал он деньги? Отдал. Дядьке отдал, а не тебе. А изба чья - по документам? Твоя изба! Вот и продай тому, кто может оформить. Покупателя привели, он - местный, проблем с оформлением не будет. Давай, говорят, при нас - по рукам...

Прямо-таки дурацкое положение, в котором мы оба оказались, давно уже выводило меня из равновесия, я вспылил:

- Ну, и ударил бы! По рукам... Что ж теперь?! Взял бы деньги...

Он прямо-таки вскрикнул:

- Да не могу я, не могу!

Я тоже чуть не кричал:

- Да почему не можешь-то?!

Интонация у него сделалась ну до того проникновенная:

- Ты так ничего и не понял?!

Махнул беспомощно рукой и через огород пошел к лесу: не хотел, стало мне ясно, чтобы деревня видела его в расстроенных чувствах.

Потом пришла пора других крайностей, и наши с Володиём Семеновым проблемы сделались мелочью, почти не стоившей

внимания. Все было в один момент «утверждено-подписано», в благодарность за десятилетнее долготерпение я принялся совать Паяле деньги, давно оставленные как раз для этого случая, но он строго отвел мою руку, опять сказал как-то уж очень прочувствованно:

- Когда поймешь?.. Глазовым да Семеновым нельзя себя баловать - нас в Захарове слишком хорошо знают. Может, для кого-то это так... мелочи, которые ничего не стоят. Но мы этим дорожим.

При нашей-то сумасшедшей московской жизни, когда себя не помнишь, - да не забыть? И я переспросил теперь:

- Да чем, чем?

- Родня наша! - сказал он почти торжественно. - Арина Родионовна, я говорил... Мы - потомки! Александра Васильевна Глазова, что в твоей-то избе жила, - родная моя тетя.

По нашим скороспешным временам, чуть ли не все и вся стирающим в памяти, - мало ли? И уважения к предкам своим. И - благородства.

И вот обе эти семейные истории - реальная история Володи Семенова, Владимира Николаевича, и мифическая моя - с горе-охотником Якимом Нимченко, предположительно родственником - долго жили во мне отдельно, а потом вдруг однажды я сказал себе то самое, гоголевское: ба-ба-ба!..

А ведь любопытная штука получается, и в самом деле - прелюбопытная!

Пушкин и Гоголь после отъезда Николая Васильевича в Рим больше не виделись, но дружба между ними впоследствии получила продолжение в близком родстве их потомков. Несколько лет назад в одном из многочисленных тогда комитетов по подготовке 200-летнего юбилея Александра Сергеевича я познакомился с Георгием Александровичем Галиным, в роду у которого как раз и сошлись эти дорогие русскому сердцу фамилии, записал тогда его домашний телефон, и вот нынче, стоило позвонить, Георгий Александрович живо заговорил: «Мария Александровна, урожденная Пушкина, дочь Александра Александровича, старшего сына Пушкина, вышла замуж за Николая Владимировича Быкова, сына одной из сестер Гоголя, Елизаветы Васильевны...»

Как это великолепно - когда ничего не надо придумывать и когда это помнится как таблица умножения прилежным школьником: разбуди среди ночи - тут же начнет «от зубов отскакивать».

Был у нас с Георгием Александровичем при первой встрече и разговор о Якиме Нимченко. «Как? - удивился он теперь. - Вы так и не посмотрели этот альбом? Говорил вам: называется «На родине Гоголя». Издан в Полтаве в 1902 году. Составила его Ольга Васильевна Гоголь-Головня, как понимаете, - сестра. В Исторической библиотеке это проще всего

найти. Есть там и портрет Якима Нимченко... Так до сих пор не видели?»

Нерадив, подумал я о себе после разговора с Георгием Александровичем, ох, нерадив! Нет, надо сходить в «Историчку», надо!

О разысканиях, поглубже этих, потом, коли Бог даст, напишу, а пока остается думать, что Тот, Кто не только «заключает браки на небесах», но и вообще устраивает наши судьбы, - то ли просто в минуту отдыха от больших дел, а то ли для постановки некой полунасмешливой задачки для нас, грешных, свел вместе потомков Арины Родионовны и дальних родственников Якима Нимченко. Наследников няни да слуги... Но так ли уж это плохо?

Няня - почти родной человек, а то и вообще родной: совсем недавно няней звали старшую сестричку, а то и старшего братца, он тоже был - няня.

Достаточно хорошо знающему Кавказ, мне первым делом приходит в голову ласковое «нынэ», «нан», «нана» в языке у черкесов. «Мама» и «бабушка».

И слова эти живут в сердце и у аульского сорванца, и у бесстрашного джигита - так же, как мама и бабушка навсегда остаются в сердце у каждого, живущего на нашей теплой и все еще пока зеленой Земле.

А что слуги?

Великий свой и благородный смысл есть и в этом слове. Конечно, помните лермонтовское: «Слуга царю, отец солдатам...» И недаром ведь мы говорим: «верный слуга Отечества», «преданный слуга общества», «народный слуга». А разве не похвала и уважение звучат в словах: «служить верой и правдой», «служить примером»? Разве можно без благодарности вспомнить усердного и опытного «служажу» - чаще всего старого воина?.. Слуга слуге рознь, это так. Но ведь недаром, уверяя кого-то в своей благожелательности и открытости, в чистосердечии своем и дружелюбии, мы говорим: «ваш покорный слуга», или - «слуга покорный».

Что же касается родословного дерева, то у каждого из нас, конечно же, оно древнее - у всех, кто на Божий свет появился. Дело в другом.

У кого-то такое дерево попышней бывает, всего лишь потому, что о нем постоянно помнят и по мере возможностей усердно за ним ухаживают. Но и на таком дереве есть «ветки» мощные и раскидистые, налитые ядреным живительным соком, а есть полузасохшие и совсем истончившиеся... Что можно, казалось бы, в их давно свершившейся судьбе изменить? Для явленного недавно, молодого совсем отростка все они остались ниже него, но в том-то и штука, что здоровая и полноценная жизнь каждой новой веточки как бы придает оправдание и смысл тем, которые в тяжелые для

дерева, бесплодные годы перевелись или засохли.

То же - с каждым из нас.

Представить только: какая волшебная возможность дается нам вместе с нашим рождением!

Если проявишь доброе желание и стойкую волю для того, чтобы вырасти добропорядочным человеком и настоящим слугою страдающего нынче от многих бед и печалей Отечества, то жизнью своей, своим служением ему ты исполнишь не только лично свое высокое предназначение, но и вернешь своим предкам когда-то утраченное ими из-за жестокости мира достоинство, либо принесешь славу, которой до тебя в роду еще и не было.

Вот занятие - и в самом деле, достойное всякого, кем бы он и где бы он ни родился.

А прицепиться к ветке чужого родословного дерева, раскачиваться на нем и громко верещать - дело больше, пожалуй, обезьянье.

Тайна «драгунского батюшки»

«Казачий» художник Сергей Александрович Гавриляченко, проректор Суриковского института, стал профессором и получил звание заслуженного художника России.

Старые его товарищи, к которым и себя имею честь относить, всегда отдавали должное и его профессиональному мастерству, и академическому складу ума этого талантливого творца, и его обширным знаниям, особенно в области отечественной истории. Попробуй найди собеседника более увлеченного и более сведущего!

Этим скорее всего и объясняется, что в мастерской у Гавриляченко, когда среди картин, посвященных «дворянам земли» - казакам, впервые увидел на холсте скачущего посреди лавы Александра Сергеевича Пушкина с пикою в руке и восхитился прежде всего и верно схваченным кавказским колоритом, и вообще - достоверностью картины, друг мой заговорил, словно упреждая вопросы:

- Это исторический факт, можешь проверить. С чего начнем? С Нижегородского драгунского полка или сразу - с Вересаева? «Пушкин в жизни», тут все есть. - И протянул мне пухлый том со множеством повидавших виды, уже закурчавившихся по обреза бумажных закладок: - Вот, начиная с первой...

Еще раз помянем благодарным словом писателя Викентия Викентьевича Вересаева: как хорошо, как славно, что когда-то он собрал все это вместе - отрывки из воспоминаний современников о великом нашем поэте, письма, записки, строчки из дневников... Вот свидетельство М. И. Пущина, лицейского товарища и близкого друга поэта, неожиданно

встретившего его на Кавказе в июне 1829 года в командирской палатке Н. Н. Раевского под Арзрумом: «А. С. Пушкин бросился меня целовать, и первый его вопрос был: «Ну, скажи, Пушин, где турки, и увижу ли я их, я говорю о тех турках, которые бросаются с криком и оружием в руках. Дай, пожалуйста, мне видеть то, за чем сюда с такими препятствиями приехал!»... Пушкин радовался, как ребенок, тому ощущению, которое его ожидает».

Давайте запомним, это нам потом пригодится: радовался, как ребенок.

И снова послушаем Пушина: «Я просил его не отделяться от меня при встрече с неприятелем, обещал ему быть там, где более опасности... Раевский не хотел отпускать его от себя, а сам на этот раз, по своему высокому положению, хотел держать себя как можно дальше от выстрела турецкого, особенно же от их сабли или курдинской пики. В это время вошел Семичев (майор Нижегородского драгунского полка, сосланный на Кавказ из Ахтырского гусарского полка) и предложил находиться при нем, когда он выедет вперед с фланкерами полка...»

Вот как описывает, что было потом, свидетель событий того дня Н. И. Ушаков: «Перестрелка 14 июня 1829 года замечательна потому, что в ней участвовал славный поэт наш А. С. Пушкин... Когда войска, совершив трудный переход, отдыхали в долине Инжа-Су, неприятель внезапно атаковал передовую цепь нашу. Поэт, в первый раз услышав около себя столь близкие звуки войны, не мог не уступить чувству энтузиазма. В поэтическом порыве он тотчас выскочил из ставки, сел на лошадь и мгновенно очутился на аванпостах. Опытный майор Семичев, посланный генералом Раевским вслед за поэтом, едва настигнул его и вывел насильно из передовой цепи казаков в ту минуту, когда Пушкин, одушевленный отвагою, столь свойственной новобранцу-воину, схватив пику после одного из убитых казаков, устремился против неприятельских всадников. Можно поверить, что Донцы наши были чрезвычайно изумлены, увидев перед собой незнакомого героя в круглой шляпе и бурке».

Ну, вот они теперь на картине, вот: и полуоборот знакомого лица, и «круглая шляпа», и удобная в боевой жизни укороченная бурка...

Понятное дело, что художник, только недавно картину закончивший, сам, как это бывает с натурами искренними и цельными, все еще оставался в том давнем времени, все еще посреди казачьей лавы, и мне пришлось как бы даже охладить пыл его:

- Как назвал-то картину?

Он откликнулся с живостью:

- А так и назвал. Как раньше баталисты называли... так и я: «Александр Сергеевич Пушкин в деле 14 июня 1829 года в долине Инжа-Су».

С радостью я потом увидел эту картину на выставке в Манеже. И очень пожалел, что не захватил в тот раз свою «мельницу» от «Кодака»: возле картины бочком стоял высокий негр, сосредоточенно выворачивал голову, словно пытался заглянуть Пушкину в лицо. Я все понял, заговорил с ним запросто:

- Узнаете? Родню свою?

С каким добросердечным дружелюбием он отозвался! С какой гордостью и с какой благодарностью:

- Да, да! - и ткнул себя пальцем в грудь. - Эфиоп, эфиоп!

Картину я видел потом на других выставках, видел уже в репродукциях на обложках журналов. С каждым разом проникался к ней все большей симпатией и скоро привык душой: как будто написана она была уже очень давно. Была всегда. И написать ее должен был не кто-нибудь иной - именно Сергей Гавриляченко, один из самых преданных певцов казачьей темы: несколько лет назад он уже получил за это премию «Роман-газеты» и Союза казаков России с символическим названием «Стремя».

И все же в истории создания картины что-то оставалось для меня недосказанным, смутно манила какая-то связанная с ней, близкая сердцу тайна.

Тут, пожалуй, придется очень коротко рассказать историю, о которой я, коли даст Бог, непременно напишу потом подробнее. Дело в том, что два десятилетия назад, в горькие после гибели младшего сына, семилетнего Мити, месяцы, когда нам хотелось бежать из Москвы куда глаза глядят, мы приобрели в долг старую избу в деревне Кобяково под Звенигородом, неподалеку от Захарова, и когда, как водится, подняли на счастье со щедро уступившим нам избу бывшим хозяином две-три рюмки самого традиционного в таких случаях крепкого напитка, он вдруг отчего-то расчувствовался: «А знаете, что это за изба? Кто ее ставил - знаете?»

И речь пошла о потомках Арины Родионовны: достаточно молодой еще наш доброжелатель взялся рассказывать о хранившемся в доме его бабушки в Захарове заветном сундучке - сперва в нем незаметно истошились и окончательно исчезли давно пожелтевшие бумаги, после - старомодные вещички. А потом настала очередь и самого сундука. Эх, какой был громадный и какой он был красивый, этот окованный железом сундук! Но, может быть, тем, кто занимается наукой о Пушкине, кто собирает все, что с его именем связано, он был куда нужней, верно?

По давней «захаровской» традиции, которая почти исключала фамилии, а предпочитала прозвища, бывший хозяин избы нашей называл себя Володя-Паяла и наставлял только так, коли вдруг станем почему-либо искать его, о нем в Захарове спрашивать. Я и рассказ свой, если Бог даст написать его, об этих местах под Большими Вяземами, где прошло детство Пушкина и где в Голицыне между церковной оградой и стеной Преображенского храма навсегда осталась могила его

младшего брата Николеньки, скорее всего озаглавлю именно так: «Володя-Паяла».

Так вот, проезжая теперь в звенигородской электричке мимо платформы с табличкой «Захарово» и всякий раз вглядываясь в неширокую кромку леса, за которой прячется отстроенный недавно дом Ганнибалов, отчего-то я все чаще стал оживлять в памяти «пушкинскую» картину моего товарища, а однажды, возвратясь в Москву, тут же достал с полки первый том Александра Сергеевича, снова нашел датированное 1815 годом «Послание к Юдину». Поэту едва исполнилось шестнадцать, но он уже пишет: «Смотрю с улыбкой сожаленья на пышность бедных богачей...» Это оттуда, из «Послания». А вот и «мирный уголок, с которым роскошь незнакома»:

Мне видится мое селенье,

Мое Захарово...

Именно здесь, в старинном доме Ганнибалов, «привиденья, родясь в волшебном фонаре, на белом полотне мелькают, мечты находят, исчезают, как тень на утренней заре...» О чем же эти мечты?

Среди воинственной долины

Ношусь на крыльях я мечты,

Огни во стане догорают;

Меж них, окутанный плащом,

С седым, усатым казаком

Лежу - вдали штыки сверкают,

Лихие ржут, бразды кусают,

Да изредка грохочет гром,

Летя с высокого раската...

Трепещет бранью грудь моя

При блеске бранного булата,
Огнем пылает взор, - и я
Лечу на гибель супостата.
Мой конь в ряды врагов орлом
Несется с грозным седоком -
С размаха сыплются удары.
О вы, отеческие лары,
Спасите юношу в боях!
Там свищет саблей он зубчатой,
Там кивер зыблется пернатый;
С черкесской буркой на плечах
И молча преклонясь ко гриве,
Он мчит стрелой по скользкой ниве...

Теперь-то вот уже и строгие научные трактаты готовы подтвердить, что наше будущее рождается прежде всего в нашем воображении... Да если еще в таком воображении!..

Недаром ведь нынешний эфиоп в современном нашем Манеже выворачивает голову, словно стремясь заглянуть в лицо Пушкина.

«Среди воинственной долины...»

И вот она, сначала в пылких мечтах, само собой, неоднократно повторяющихся.

«О, если бы когда-нибудь сбылись поэта сновиденья!» - восклицает шестнадцатилетний Пушкин там же, в «Послании к Юдину».

Ведь сбылись!

Все чаще мне теперь кажется, что жизнь Поэта была бы в каком-то смысле неполной, если бы этого не случилось: его прямого - с пикой в руке! - участия в «деле 14 июня 1829 года в долине Инжа-Су».

Сергей Александрович Гавриляченко, шедший к своей замечательной, я уверен в этом, картине не из подмосковного Захарова, где прошло детство Пушкина, - исходивший из исторической правды, подтвержденной не одним документальным свидетельством, наверняка это тоже почувствовал и на картине своей, как глубокий и чуткий художник, воспроизвел, конечно же, одно из главных, может быть, событий в жизни русского гения, редко, как это ни покажется странным, замечаемых исследователями: показал нам поэта - воина, поэта - защитника Отечества. Патриота.

Из-за необычного для военного лагеря вида солдаты принимали Пушкина под Арзрумом за полкового священника. «Видя постоянно при Нижегородском драгунском полку, которым командовал Раевский, - писал в своих воспоминаниях М. В. Юзефович, - звали драгунским батюшкой».

Конечно же, и порывом своим, отныне запечатленным и в живописи, он преподал всем нам образец служения Отечеству, - «драгунский батюшка».

И, само собою, - казачий...

...Когда этот маленький рассказ был написан, я решил показать его Сергею Александровичу: вдруг да найдет в нем какую-либо неточность либо оплошку. Для начала он взялся было слово за словом вымарывать из текста все похвалы в свой адрес, а когда я буквально отнял у него карандаш, вдруг припомнил:

- И еще, эфиоп - это наш Кадыр? Разве ты не знаком с ним? Он всегда приходит на институтские вечера, когда приглашаем попеть ребят из «Казачьего круга», - он прямо-таки боготворит этот хор. Понимаю, что есть за что, но...

Я тоже улыбнулся: «Казачий круг» и в Африке - «Казачий круг»?

- Защитил диплом, уже собрался на родину, - снова посерьезнел мой друг. - Может быть, хочешь поговорить с ним? Нынче он как раз должен прийти - будет паковать свои картины.

Кадыра Кери Аусмана мы застали в одной из мастерских института: стоя перед холстами, прикидывал, как их получше сложить, - дорога им предстояла и в самом деле неблизкая.

- Тогда в Манеже вы так долго вглядывались в «пушкинскую» картину Сергея Александровича, - начал я, когда мы с ним пожали руки, знакомясь.

- Да, их там много! - охотно отозвался Кадыр, и я, настроенный на одного, на Пушкина, сперва не понял выпускника-африканца.

- Кого, извините, много?

- Казаков! - сказал он радостно. - Казаков.

- А ты думал, он в Пушкина вглядывался? - рассмеялся Сергей Александрович. - Нет, Пушкин для Кадыра - свой, а вот казаки...

- Можно говорить, что казаки тоже... почти? - охотно откликнулся Кадыр. - Почти свои, да. Эфиопы и казаки очень похожи.

- У тех и у других есть кони, - продолжал дружелюбно посмеиваться Сергей Александрович. - Как раз сейчас мы и видим, как наш Кадыр Кери садится на своего любимого конька... разве не так, Кадыр?

- Так, так! - прямо-таки лучился от широкой улыбки африканец. - У тех и у других есть отвага, но нет злобы. Храбрость в них есть - вместе с уважением тех, кто живет по-другому. Эфиопы тоже, как казаки, - очень широкие. Такая же душа: мы всех понимаем и всех принимаем в свою страну...

- В том числе и казаков принимали, - со вздохом поддержал Сергей Александрович. - После нашей Гражданской в Абиссинии было много казаков-эмигрантов, которые потом разошлись по всей Африке.

- Так, так, - радовался Кадыр. - Всегда всех принимали: и православных христиан, и мусульман.

- Брат у Кадыра - православный, - сказал Гавриляченко.

- А сам?

- Сам мусульманин, да, - объяснил африканец. - Но у нас христиане и мусульмане дружат - как мы с братом. С казаками

тоже всегда были мусульмане: башкиры и татары. Всегда были последователи Будды - калмыки и буряты.

- В том, что Кадыр, когда вернется, соберет в своей Аддис-Абебе казачье землячество, не сомневаюсь, - дружелюбно подзадоривал Гавриляченко своего ученика. - А вот удастся ли ему создать казачий ансамбль...

- О, это было бы слишком хорошо! - обрадовался Кадыр. - Тогда бы я, наконец, разгадал тайну... она есть! Пушкин - я понимаю. Казаки - тоже пытаюсь понимать. Но когда это вместе: стихи Пушкина и песни казаков... Пушкин и казаки. Это - тайна, тайна! Пока я думаю, что он любил казаков, потому что рядом... нет, как это? В нем. В нем жил эфиоп. Потому он свой казакам, они для него... Так?

Он все пытался поточней подбирать слова, а я потихоньку улыбался и думал: ну, вот, вот - выходит, и еще одна тайна «драгунского батюшки». Над смыслом которой, вспоминая студенческие годы в России, наверняка будет размышлять в своей жаркой Эфиопии еще один «приписной казак» - молодой художник Кадыр Кери Аусман.

Сон Пегаса в богатом «стойле»

Случаются сны, что и на голову не натянешь; этот - нет.

Он, как в детском «Конструкторе», состоял из подробностей, одни из которых давно уже поселились в душе и памяти, другие возникли только что, вчера, но и то, и другое было такое свое, кровное и родное, что в номере «четырёхзвездочной» «Стойлянки», проснувшись, я ощутил вдруг не то что умиление - ощутил сладостный восторг и прилив тихой благодарности, которого не бывало уже давно, - как хорошо, что нынче я твердо знал, кому эта неизъяснимая благодарность предназначалась. Была она одной из главных составляющих сна, как бы его несущая... Возблагодарим также прошлое, возблагодарим Сибирь с ее ударной комсомольской стройкой - другое дело, что нынче тоже иначе думаешь о том, по чьей ты воле попал туда...

Накануне мы стояли на смотровой площадке Стойленского карьера в Старом Осколе и сквозь легкую утреннюю дымку глядели вниз, на путаницу дорог, серпантинном уходящих на черное дно гигантской воронки, рукотворного этого цирка с разноцветными, разной толщины террасами, на которых там и тут грызли кто что сильно уменьшенные расстоянием экскаваторы, и от них медленными жуками отползали тоже крошечные сверху «БелАЗы» - какой с горкой «синяка» на горбу, какой - с «краснухой»... Мы говорили о темно-желтой «юре» - глине юрского периода, которая вместе со «скальной кровлей» ни в какое дело не шла, ни для чего не годилась, в отличие от тоненькой кожицы чернозема на самом верху, от двадцатиметрового слоя «кирпичной» да «керамзитовой» глины под ним, от тридцатиметровых толщ - одной за другим - мела и мергеля и почти такого же слоя песка, под которым и начиналась юра - «глинопесчаная смесь», лежащая на покрывающей руду «скальной кровле».

- В прошлом году с отцом Василием из церкви Святого Пантелеимона, - знаете эту церковь? - мы ехали к нему в Долгую

Поляну, - говорил я начальнику технического отдела рудоуправления сорокалетнему Евгению Федорову, симпатичному, слегка похожему чертами на выходца с Северного Кавказа. - Он на минутку притормозил и указал на маленькое, уже засыпанное с краю сельцо под самым отвалом. Давно заросшие бурьяном сады, скособоченные избенки с провалами окон: мол, вот, скоро оно будет окончательно пустой породой завалено... А мы до этого уже выяснили, что он сюда вслед за нынешним белгородским владыкой переехал из Иркутска, знает Валентина Распутина. Я и говорю ему: батюшка, выходит, в «Матере» у Валентина-то Григорьяча деревня уходит под воду, а в нашем случае она скроется под землей? Теперь вопрос к вам, Евгений: хочешь не хочешь, для деревеньки для этой как бы вновь наступит юрский период?

Словно защищая неведомо от чего горно-обогатительную фирму свою, родной Стойленский ГОК, и не понимая пока, к чему я это веду, Федоров горячо заговорил о том, какие прекрасные дома получили жители пропащей деревеньки в Долгой Поляне, какие - кто захотел - квартиры в самом Старом Осколе, но в этом ли было дело?!

- Несколько лет назад я перевел роман адыгейского писателя Юнуса Чуяко, - взялся я рассказывать Федорову. - «Сказание о Железном Волке» - такое название... вот тоже: о Железном! Недаром переводчика в Старый Оскол-то, поближе к руде тянет, а? Давно уже. Ну как магнитом! Так вот, кроме всего прочего речь там идет о строительстве Краснодарского моря - оно потом залило несколько аулов, но перед этим пришлось вырубать сады, чтобы вода потом не «зацвела», бетонными плитами пришлось накрывать могилы на кладбищах... В романе один из героев, летчик, приезжает на родину с опозданием, пытается достать из-под плиты останки матери, чтобы перевезти их в другое место, и его чуть не убивает обломками. А тут ничего этого не надо: сыпь земельку, она все надежно укроет... все, что мы вверх дном перевернули... Или не так?

Накануне всю утреннюю смену я просидел в просторной, на верхотуру вознесенной кабине «БелАЗа» рядом с Алексеем Меденцевым. Сидел я и про себя посмеивался, видя, как на махине своей в сто пятьдесят тонн Меденцев осторожненько объезжает шелудивого пса, который по-хозяйски разлегся посреди дороги в карьере. Посмеивался, вспоминая, что мы любили тогда, почти полвека назад, писать, как чуть не со всем миром конфликтующий по причине упрямого характера бульдозерист пощадил крохотную березку, оставил на площадке расти, как монтажник, сорвиголова, бережно, со всеми предосторожностями, с «отметки восемьдесят» снимал свитое, считай, из строительного мусора гнездо с птенчатами: перед этим их, монтажников, на каждом рапорте чехвостили, почему выше не идут, всех сдерживают, а они ждали, пока вылупятся синички да чуть подрастут - вон как родители теперь носятся над желтой каской, вон как кричат, а яйца, уже наполовину насиженные, они бы наверняка бросили... И вот сидел я рядом с водителем, переживавшим совсем недавнее горе... ох, страшное!

Жена позвонила сыну в воинскую часть в Рязань, но к телефону его не подозвали, якобы не нашли: мол, где-то во дворе гаража болтается, вот мы ему зададим, ишь, не пишет родителям! Мать есть мать: позвонила еще раз, и другой командир ответил почти такой же неопределенно строгою полушуткой, а тут как раз приехал парень из той же части, кровати в казарме рядом: его уже месяц, говорит, не видать - в какой-то дальней командировке... В какой?! И мать решила: послали в Чечню. И запилила своего Алексея Андреевича: неужели ты, и правда, такой отец, что лень сесть в машину...

Сели, наконец, и почти под Рязанью их ударил в бок грузовик - словно ножом отрезал заднюю часть «Жигулька». А парень и в самом деле в командировке был, и вовсе недалеко - успел на похороны родной матери: ну, что им там стоило не отбредиваться, а сразу сказать правду?!

Сочувствуя Алексею Андреевичу, который поглядывал на меня сперва с холодком, а потом все-таки доверился, поделился недавним горем, я зажмурился, не зная, что сказать ему, как утешить, - только опускал голову, вел из стороны в сторону - не приведишь никому, не приведишь! - а когда поднимал, опять видел развороченное дно карьера, петлявшую с одного уровня на другой дорогу, островки руды, горки породы, где уже успела и трава загустеть, и одно-другое деревце вырасти... Ковшом экскаватора ли толкнули, под собственной тяжестью ли посунулась, - и вот уже береза, укоренившаяся в расщелине съехавшей вниз, сильно накренившейся глыбы, лежит теперь боком, но продолжает упрямо зеленеть и одной стороной тянуться к солнышку...

Не так ли и ты, Родина, пытаешься залечить свои тяжкие раны?! Не только те, что все прошедшие годы оставили в Сибири, на Кубани, на Кавказе, в центре черноземной России, - еще и те, кровоточащие, что растравили мы нынче, что нанесли своей стране необузданным воровством и оголтелым разором... Даст ли Бог?

Старый Оскол вообще и Стойленский ГОК - по-здешнему «Стойло» - в этом смысле можно считать пока счастливым оазисом: город трудится с напряжением, какого кое-где здесь не бывало и раньше.

В кабинете главного инженера рудоуправления я пытался уговорить дать мне возможность понаблюдать за предстоящими взрывами из диспетчерской, но главный инженер был категоричен: нельзя! Недавно у них случилась история почти фантастическая: два куска руды от двух одновременных взрывов столкнулись в воздухе, и осколком убило сварщика, который спокойно себе работал чуть ли не в полутора километрах от зоны опасности.

- А теперь? - спрашивал главный. - Вы видели, что взрывчатка уложена на террасе почти под самой площадкой? Недаром же оцепление усилили - муха, как говорится, не пролетит.

- Спасибо за идею! - попробовал было я взять шуткой. - Придется мне попроситься в оцепление. Когда-то у меня роман вышел: «Пашка, моя милиция», и мне за него приказом министра МВД значок «Отличника» вырешили. Знал бы - нацепил. Но, может, и без него позволят рядом-то постоять?

- На Запсibe говорили, что они вам и пистолет дали? - уточнил молчаливо слушавший до этого наш диалог пожилой, с седым ежиком, с внимательными глазами на массивном лице, плотный крепыш.

Оглядывая друг дружку, поручкались, он сказал:

- Ковалев Виктор Степанович. Бригадиром электриков на заводе был, когда пускали первую домну. Мэр наш, Николай

Петрович, бригадой монтажников тогда руководил, более знаменитой и не было, чем бригада Шевченко, а мы были уже эксплуатация - рядом работали... Вы, наверное, сюда - к нему?

Так вот, объезжая старых товарищей, и собираешь о себе байки. Недаром пошучиваю: мол, Кузбасс - моя историческая родина. Столько ходит всяких историй, что сам давно запутался: что правда, а что - присочинили. Но это - было. После того как «Пашку» напечатали, пришел ко мне прототип главного героя Павла Береснева - Павлик Луценко, наш первый на стройке милиционер. Расстегнул на груди шинель, достал из-за пазухи кобуру с торчавшей наружу ручкою в рубец:

- Тебе! За твой роман. Ревнаган! - достал его, пощелкал, переводя пустой барабан, клацнул курком и полез в карман за патронами. - Знаем трое: ты, я и Шилов Иван Федорович... Спрячь понадежней. И - могила!

«Тяжело в деревне без нагана, - как некогда в одном ревстихе говорилось, - но с наганом - вдвое тяжелей!»

Тогда я испытал это, испытал!

Несколько дней без передыху свое «наградное оружие» перепрятывал: куда ни положу - на него тут же наткнется либо жена, либо жившая у нас тогда моя сестра-студентка, либо трехлетний сын. Этот досаждал мне особенно: едва научившись ходить, он первым делом как будто вступил в общество «Юный сыщик» и только тем был и занят, что все мои тайники один за другим обнаруживал...

А через неделю, когда я вышел, наконец, на свежий воздух, ко мне радостно бросился чуть ли не первый встречный, наставил на меня указательный палец: «На медведя собираемся - дашь свой «пух-пух»? Для страховки». «Да откуда ты взял...» - начал было я, но он не дал мне договорить: «Как это - откуда? Павлик сказал. Смотри, говорит, больше никому - знаем только мы четверо: начальник милиции Шилов, я да вы двое». Буквально через минуту-другую еще один страдалец начал посреди улицы мрачно гугнить, что вот, мол, все у них с женой было хорошо, жили, как люди, но решили, значит, что теща продаст дом и переедет к нам на Антоновку малышку нянчить - и что?.. Нянчатся теперь они с тещей. Вот если бы я по-дружески согласился припугнуть ее, а? Пол-литра, само собою, за ним. И - могила! Павлик сказал, что про наган знают только четверо...

Не прибавляю нисколько: очередной привходящий в нашу - с тремя постоянными членами - «четверку» с завистливым вздохом сказал, что все правильно, да - в поселок вот-вот эков привезут, на комсомольскую стройку, а? едреный корень?! Конечно, надо готовиться!

В полном изумлении я вернулся домой, положил «ревнаган» в портфель и отправился в милицию. Пашки не было, пришлось зайти к начальнику отдела капитану Шилову: «Спасибо за доверие, отпечатки пальцев я стер - возвращаю». Шилов в изумлении глядел на револьвер: «Откуда это у вас?!»

Он ничего не знал!

Может быть, нынешний главный экономист рудоуправления Ковалев тоже входил в одну из мифических четверок, которые с одному ему известными целями упорно создавал в нашем поселке Павлик Луценко, пока я его «ревнаган» перепрыгивал?

Воспользовавшись паузой в нашем разговоре с главным инженером - по срочному делу вошел кто-то из подчиненных, - Виктор Степанович отвел меня теперь чуть в сторонку, заговорил с загадочным видом:

- Не знаю, зачем вы в Старый Оскол приехали... Но я бы вам очень советовал написать о нашем Федоре Иваныче, о Клюке. Помните, на Запсибе тогда движение было: за досрочное освоение мощностей? ЦК постановление принимал: мол, инициатива трудящихся. Ордена потом посыпались градом. А тут вот у нас проектная мощность около пяти миллионов тонн, а даем теперь десять. Уже даем. И собираемся в будущем году еще прибавить: прежде всего - благодаря неукротимой энергии Клюки. Это - вулкан! Благодаря хозяйской смекалке, неординарным инженерным решениям... Знаете, что он у нас, кроме прочего, - президент Союза горнопромышленников России, академик - вы это знаете?

...В гостинице, перед тем как лечь спать, я взял в руки книжку митрополита Антония Сурожского, хотел было найти страничку, на которой остановился до этого, но тут мелькнула другая: «Большинство из нас вступает в ночь покоя: мы отложим тяготу дня, усталость, тревоги, напряжение, озабоченность. Мы отложим все это на пороге ночи и войдем в забытие. В этом забытии мы беззащитны: в течение этих ночных часов Один Господь может покрыть нас Своим крылом. Он силен оградить наши сердца против того, что может подняться из наших еще не очищенных, не просвещенных, не освященных глубин. Он силен оградить наши мысли, наши сновидения, спасти наши тела».

А ночью прежде всего я ощутил далекий запах горячего хлеба... Может, оттого, что номер мой на третьем этаже находился в том конце коридора, в котором на первом была кухня, и сюда проникал еле уловимый дух выпечки - готовили тут великолепно. Может, три долгих года по настоянию докторицы, которой всегда безраздельно верил, не евший хлеба вообще и так по нему истосковавшийся, что вот он, запах, нашел меня, как заядлого курильщика настигает во сне полузабытая затыжка дымком? Но горячий хлебный дух накачивал на меня вместе с замедлявшими ход вагонами, я не понимал, в чем тут дело, пока в дверях одного из них не появился мой адыгейский друг, крикнувший мне: «Щелям!.. Я везу ему щелям!»

Неужели у снов тоже есть и второй план, и третий, и есть на свете такая хитрая штука, которую только и остается назвать: подсознание нашего подсознания?..

Краем в памяти скользнула центральная улица уютного и тихого, прекрасного в любую пору Майкопа, мелькнул этот примыкающий к старой кондитерской фабрике новенький магазин, где и в наше время выстраиваются очереди за горячими, на ароматном коровьем масле адыгейскими пышками из лучших сортов кубанской пшенички: щелям!

Магазинчик так и называется - «Пышка», и постоять возле него - уже как будто перекусить одним лишь этим ни с чем не сравнимым духом детства.

Теперь он переместился на старооскольский перрон, растворился над ним в морозном воздухе...

«Щелям везу ему! - повторял мой друг Юнус на перроне, пока мы с ним на кавказский манер, на два плеча, обнимались. - Срочно нужны эти деревянные штуки, на которых он лежит в хлебозаказках, нужны эти решетки... есть они?» И я их тут же нашел неизвестно где, сложенные у меня на руках одна на другую, передал ему в вагон несколько... ну, и запах оттуда шел, из вагона, - как из доброй пекарни. А я вдруг спохватился: «А сыр?.. Сыр копченый? Гомыль!» - «Сыр он пробовал, - радостно откликнулся Юнус. - Ты забыл?»

И опять краем пронеслось то, что было несколько лет назад: на идущем по Лене теплоходе сидим в каюте, которую занимали втроем с Юнусом, Валею Распутиным, по сути первым прочитавшим «Сказание о Железном Волке», - он писал к нему предисловие, - сидим, и я Вале говорю: вот, мол, видишь, я все спрашивал тебя, как докатилось до твоей родной Аталанки краснобокое кубанское яблоко из твоих «Уроков французского», а теперь к тебе прикатил этот круг копченого сыра - знаешь, что это за сыр, Валя?! Сушеный, черкесы брали его раньше в дорогу, бывало, - и на несколько лет. В дальний набег. Вместе с вяленой соленой бараниной, вместе с чесночной солью - от всех болезней - входило в гомыль, это - еда путника. Еда воина. Все пахло родным очагом: чтобы в дальнем набеге джигит не забыл о доме, где его ждут...

- Ну, у Юнуса тоже - дальний набег, - мягко, как только он один, кажется, и умеет, улыбался Распутин. - Из Майкопа - в Якутск. Из Адыгеи - в Якутию.

- Через всю азбуку! - радовался счастливый Юнус. - От «а» до «я». Если даст Аллах, я потом напишу это: «А» и «Я».

Конечно, для него это было - как сбывшийся сон, для моего кунака, - резал вкусно пахнувший дымком, с коричневой коркой рубчиком, сыр, и мы неторопливо, будто все пробуя, жевали гомыль нашего друга, по скромности своей, отдававшей древней чистотой аульских нравов, еще не осознавшего, как бесстрашно ворвался он, как далеко проник не только в прозу нынешнего Кавказа - в ту многоводную и мощную, из десятка национальных потоков, литературу, которую - вот тут уж, и точно, во всех отношениях справедливо - называем российской.

И вот теперь сбывшийся в далекой Якутии сон Юнуса оказался в моем старооскольском сне - я горячо говорил ему: «Что значит - пробовал? Ну даешь! Не мог захватить?!» - «Постеснялся, - смущенно ответил Юнус. - Щелям взял на этот раз, сам видишь, сколько ему везу... Ты чего ждешь, ты садишься?» - «Я не еду!» - «Как - ты не едешь?!»

Отголоски прошлогодней вины перед Валентином Григорьевичем?

Сам из Иркутска мне позвонил, спросил номер паспорта и все остальное, что надо для билета на самолет в Сибирь, на

его «Байкальский форум», а я потом уехал в Кузбасс!

«Место держал для тебя, заходи», - за руку тащит меня Юнус. «Не могу!» - «Думал, вдвоем едем!» - «Мне надо дождаться друга, на десяток дней улетел в наши края», - пытаюсь Юнусу объяснить. Как можно, и правда что, не дождаться того самого бригадира монтажников, землячка, который бережно снимал тогда с опасной высоты рядом с бездонным котлованом гнездо с птенцами? Другое дело, что теперь он тут - глава администрации, мэр по-нынешнему, у него теперь другие заботы, и «птенчат» у него, при нашей-то бескормнице, - ого-го...

«Я думал...» - мямлит мой друг. «Брось ты переживать! - перебиваю его. - Хватит тебе - что ты как сирота? Когда, наконец, поймешь себе цену?» - «Я думал...» - «Понимаю: сидеть на празднике так, чтобы не пришлось потом уступить место другому. Но сколько можно сидеть на краю скамейки, когда...» - «Я думал...» - снова упрямо начинает мой друг.

Но на этот раз Юнуса перебивает Клюка, председатель Совета директоров - давно уже стоит рядом с «ревнаганом», вертушкой, на ковбойский манер, подбрасывает его в правой руке: «Не говори «ГОК!» - советует со значением то ли мне, то ли моему черкесскому другу. С явным восхищением смотрит на него генерал-полковник Шилов... ну, Иван Федорович! Прошел, можно сказать, «и крым и рым» - так в родной моей станице обозначают «огни и воды», чего только не посмотрелся в Тбилиси, в Сумгаите, в Оше, когда в конце времен-то советских был первым замом министра МВД, самой рабочей, то есть, лошадкой, а тут - ну как девица залюбовался!

«Вулкан! - кивает на Клюку. - И правда, вулкан! За сколько мы тогда свой клуб-то «Комсомолец» построили? А он вот церковь Пантелеимона Целителя - за пятьдесят один день!»

Клюка снова ловко подкидывает наган: «Не говори «ГОК», пока не побываешь на Стойленском!»

И тут уж сам я изумляюсь афористичности его речи: ведь поговорка, и правда, поговорка - какая еще! Надо будет, думаю сквозь сон, непременно записать, пригодится...

«А Пушкин, Пушкин мой как же?! - кричит Юнус, уже становясь на подножку уходящего в Иркутск, на Байкал Валин, поезда. - Ты мне так ничего и не сказал!»

«Как - его Пушкин?» - строго, как на своей оперативке в управлении ГОКа, спрашивает Клюка.

Ах ты, господи!.. Радость и печаль моя... да только ли моя?

Начиная с девяносто девятого года, с января, взялся я своего друга потихоньку подначивать: может, мол, прав Александр Сергеевич все-таки? Когда писал... как там в «Кавказском пленнике»? «В ауле на своих порогах черкесы праздные сидят». А?! «Год Пушкина» идет!.. А они сидят себе и сидят. Ты хоть бы статью на пять, на шесть страничек,

друг мой, сообразил, что-нибудь такое, знаешь: Пушкин и черкесы. Тогда и нынче. Разве не интересно поразмышлять? Вот где простор и воля! По-моему, как нигде сегодня, поверь, - как нигде! А они, значит, сидят и сидят... ну, медлительный ты черкес, Юнус! Значит, перо - не шашка? Ну, тугодум!

И вот «Год Пушкина» благополучно прошел, как говорится, - и тут-то наш молчаливый тугодум-черкес разродился: повесть около сотни страниц, свыше четырех печатных листов... Да какая повесть!

Ну, что горькая - это само собой.

К сладким речам Кавказ нынче не очень-то, прямо скажем, расположен. Я о другом: о мастерстве. О глубине размышлений. О масштабе. Не побоюсь: вселенском.

От кунаков на Северном Кавказе слышишь иногда: мол, переводивший адыгейца Нальбия Куека русский поэт Юрий Кузнецов у наших многому научился...

Но что касается меня - признаю. «Работай для другого - учись для себя», - а как же?

Тем более, когда есть чему поучиться. Есть!

А то все мы не так давно прямо-таки в нутряной заглот приняли круто замешанную на человеческом естестве прозу колумбийца Габриэля Маркеса - куда там! Загадочный же адыгский фольклор, удивительным образом сочетающий в себе почти нарочитую народную простоту с одухотворенной высокой мудростью, остается для нас «землей неизвестной»... И только ли он? Осетинские «Нарты», боевые песни вайнахов, легенды горцев, которых объединил Дагестан, мифы, сказки, величания героев и плачи, пословицы и поговорки народов, населяющих Северный Кавказ, весь духовный космос уникального края - это пока все еще остается для нас за семью печатями...

Кавказ, считалось раньше, - наборный пояс России.

И вот носили - не знали что. И так - до сих пор.

Но мои предки жили в абазинском ауле. Кровь говорит?.. Может быть, поэтому пробую учиться. Недаром живший в Москве Аскер Евтых, светлая ему память, старшему Другу моему и во многом, несмотря на то, что познакомился с ним уже в зрелые свои годы, Учителю, - так вот, недаром этот талантливейший, недооцененный, как многие у нас, многие, к несчастью, кто саморекламой не занимается, прозаик, не раз ворчливо говорил мне: «Какой вы - Гарий, какой вы - Гурий, вы - наш Гирей!»

Разве это не важно: во времена всеобщего сиротства знать, чей ты?

А «пушкинская» повесть Юнуса, это так ясно видать, была написана под благотворным влиянием, конечно же, русской прозы последних лет...

Я о Валентине Григорьевиче. О Распутине.

Но разве это не счастье: как предки наши учили шашкой друг друга мужеству, там мы - совсем недавно еще! - учили один другого пером. Братству. Добру. Достоинству.

Но крик этот с уходящего на Байкал поезда: «Как мой Пушкин?»

Или нажим тут на другом: как?!

Сам настаивал, сам с ножом к горлу приставал, а теперь? Мол, работаешь над подстрочником? Доведешь до ума, кунак? На полдороге не бросишь?!

Впору прибегнуть к черкесскому: ярэби! Обращенный к Всевышнему крик печали...

Когда, и правда, - когда?!

Если жизнь нас поставила в такие условия, что каждый пытается выживать в одиночку... Что ноги, все больше - ноги кормят и самого автора «Железного Волка», и его переводчика, который стал, не поймешь, - то ли бродячим философом, то ли джегуако - бродячим певцом, складывающим куплеты в честь того, кто пригласил в свою кунацкую переждать непогоду и вечером накрыл стол, и позаботился о ночлеге...

С этим криком немым, с этим душевным воплем вышел я месяц-другой назад из метро, из новой «Арбатской», и на углу, где теперь турецкий ресторанчик, чуть не столкнулся с Палиевским, со свет-Петром Васильичем: и верно ведь, - Свет! Сочувственно, как доктор, - тут, правда, доктор литературы и философии, - спросил: «Вы чем-то огорчены... чем-то сильно озабочены?»

Я как на грудь ему упал: что делать русскому писателю, как быть? И надо кунака-черкеса перевести, надо, но - когда?!

А он, по-моему, еще больше ликом своим посветлел, стал еще сиятельнее: «Как интересно то, о чем вы рассказываете! Юнус Чуяко. Черкес, говорите? Адыгеец, да. Это прекрасно - такая повесть. Вы понимаете? Великолепно! Единственное: тут неуместно слово «когда». Оно всегда лишнее, если речь идет о духовном служении. Это - миссия. Вы

тоже так понимаете?»

Я только невнятно, на черкесский манер, протянул: ым-м!.. Потому что в самую точку попал Палиевский. На большую мозоль наступил. Ым-м-м!

А он еще больше вдохновился: «И потом, у вас ведь ключ есть. К горестным размышлениям вашего друга. Его вам тоже оставил Пушкин. Помните? - легонько бросил пальцами возле груди: - «Так ныне безмолвно Кавказ негодует. Так чуждые силы его тяготят». Ключ! Пушкинский. Из рук - в руки. Всем нам. Само собою - и вам!».

Дома я сперва принялся торопливо листать толстую «Общую тетрадь», в которую еще недавно записал многое из того, что относилось к Пушкину, особенно - что связывало его с Кавказом: и с казаками, и с горцами...

Мелькнула строка из «Путешествия в Арзрум»: «Недавно поймали мирного черкеса, выстрелившего в солдата. Он оправдывался тем, что ружье его слишком долго было заряжено»... Как, и в самом деле, было не выстрелить, ей-ей!.. «Влияние роскоши может благоприятствовать их укрощению: самовар был бы важным нововведением».

Недаром, нет, конечно, недаром кунак мой несколько блестящих, несколько самых глубоких, пожалуй, и горьких страниц посвятил в новой повести игре адыгейских детишек «в самовар»: сэмаур. Но вот оно, вот - пушкинское: «Кавказ ожидает христианских миссионеров»... И тут же - моя заметка: «Сам Пушкин - вечный миссионер на Кавказе. На все времена». Вот оно! Ведь писал? Как будто предчувствовал будущие сомнения, которые Палиевский с такой определенностью разрешил... Что ж теперь? Соответствуй!

Взялся потом за один том стихов, за другой. Перебрал постепенно все, какие только могли относиться к Кавказу: строчки, которую с печальным вдохновением цитировал Палиевский, нигде не было. Нигде.

Позвонил ему: не могу найти - слаб!

«Это, действительно, не так просто сделать, - заговорил он с веселым сочувствием. - Обождете несколько секунд? Слушаете? Запишите-ка: один из вариантов «Кавказа». «Пушкинское собрание» сорок девятого года выпуска, том третий, страница...»

Но что же это за силы, которые Кавказ «тяготят»?.. Какими были тогда? Как изменились нынче? И разберется ли, наконец, во всем этом Родина? Или же она никак не может дать себе отчета пока даже в том, что за «чуждые силы» вот уже столько-то лет тяготят ее самое, и это, может быть, более всего остального ранит где лаской, а где кровавою таской взятый ею некогда под опеку гордый Кавказ?..

Выходит, постичь сии тайны и предстоит нам с Юнусом - хорошенькое дельце!

Но обо всем этом я не успел с Юнусом побеседовать: о повести его говорили с ним пока только по межгороду, говорили, щадя и без того пустые карманы друг дружки, почти стремительно - а увиделись, наконец, в моем сне... Но этот ночной, из сна, поезд, за которым постепенно истаивал запах горячего хлеба, уже увозил моего друга на восток, к Байкалу, - гостевать у Валентина Григорьича.

«Пушкин мо-ой ка-ак?!» - доносилось уже издалека.

Я тянул вслед большой палец: «Молодец! - кричал. - Аферэм! Не сомневайся: ты прекрасную штуку написал. Обождешь маленечко?! Вале кланяйся! Не робей там - он тебе цену знает... Эх, сыр надо было, гомыль, гомыль!»

...И я проснулся в слезах, счастливых и горьких: Юнус уехал к нашему другу, а я опять нет... Что это значит? Что значит вообще этот сон?

«В течение этих ночных часов Один Господь может покрыть нас Своим крылом...»

И Он собрал под крылом и старых моих друзей, и новых знакомых - тех, кого я люблю и чту, и кто, верю, всегда помнит обо мне.

В одном сердце устроил встречу, которая и может быть - лишь во сне.

«Аул Пушкина»

Зиму мы с Юнусом Чуяко просиживали в Майкопе над переводом его романа «Милосердие Черных гор, или Смерть за Черной речкой»: о прошлой Кавказской войне. О Хан Гирее. О Пушкине. О нынешней войне - о чеченской.

Роман сложный, работа шла не так просто, временами двигалась совсем медленно. Бывало, подолгу спорили, окончательно заходили в тупик, и тогда я по Первомайской улице провожал старого своего друга до Заводской, и он шел направо, к остановке троллейбуса, а я поворачивал налево - пройтись пешочком по Пушкинской.

Еще с тех пор, когда недолго жили в Майкопе, улица эта стала любимым маршрутом: может быть, потому, что ведет к старинному городскому парку, в любую пору очаровательному, к тому его местечку на высоком взлобке над Белой, где всем хочется подольше постоять, вглядываясь и в ленту реки под крутым склоном, и в низкий противоположный берег с разноцветными крышами «забелянцев» посреди их садилов-огородиков у подошвы пологих сопков, скрывающих картину далеких снеговых гор...

В тот год маршрут в парк и обратно я проделывал особенно часто и особенно долго на любимой всеми горюшке простаивал, словно надеясь именно тут найти ответ на загадки, скрытые в сумраке прошедших столетий.

В часы напряженных размышлений сознание наше к чему только за помощью не обратится, за какие только зацепки-крючочки не ухватится. Как-то, возвращаясь домой, в очередной раз подумал, насколько отличаются одна от другой таблички с названием улицы, по которой иду, начал в них уже с вниманием всматриваться, и что-то такое весьма любопытное стало мне вдруг приоткрываться...

Совсем рядом с парком, на противоположной стороне, напротив бронзового бюста Александра Сергеевича, за которым стоит его, пушкинский, дом, опять теперь - драмтеатр, на угловом здании висит новенькая эмалированная полоска с общепринятым текстом «Ул. Пушкина» и рядом крупный, не меньше четверти, номер: 274. На соседних, уже за республиканской больницей, строениях таблички давно забелены и закрашены - чуть ли не до того «жактовского», на несколько квартир, дома, где «коротко и сердито», уже без «Ул.» значится: «Пушкина, 238».

Чем дальше от центра, тем больше частных домишек, кое-где перемежаемых стоящими в глубине дворцами, высокие заборы перед которыми скрывают заодно и тайну порядкового номера, а после снова следует это «Ул...» - до тех пор, пока взгляд не останавливает неординарная табличка, искусно выполненная по заказу, а то и собственными руками любовно сделанная: «Улица А. С. Пушкина». Посредине над нею как бы восходит большой кругляш с крупным номером: 42.

Стоять и попросту глазеть неудобно, раз и другой прошелся туда-сюда мимо дома... и правда, разве человеку, равнодушному к гению Пушкина, пришло бы в голову прибить на стену этот явно уважительный, явно благодарный знак памяти?

Кто тут, размышлял я, живет?.. Люди в почтенном возрасте или еще достаточно молодые?.. Семья либо одинокий человек?.. Может быть, такая же преданная своему делу учительница литературы, как и привившая мне любовь к ней в нашей отраденской школе Юлия Филипповна, страдалница, ссыльная дочь белого казака, известного в свое время кубанского профессора Бедягина?

...Давно оставив позади свою Заводскую, где обычно домой сворачивал, пошел дальше: все продолжал то на стены домов, а то на заборы поглядывать и уже совсем перед переездом, вот он - рукой до него подать, остановился как вкопанный возле третьего от края улицы дома.

Какой-то, видать, шутник таким же шрифтом, как на трафарете было написано «Ул.», масляной краской искусно прибавил спереди одну буквочку «А». Точку перед названием замазал, и я стоял перед табличкой на заборе, трясся от беззвучного смеха: «Аул Пушкина».

«Ты все знака хотел? - спрашивал себя, издеваясь. - Хотел понятного тебе символа?.. Вот он!»

Чего тут, и правда, неясного: аул - он и в Африке аул.

И хватит тебе с Юнусом спорить, хватит вам копыя ломать. То он начинает скоропалительную битву на углу Первомайской - Заводской, то ты потом ведешь длительную осаду Асланабада, этого выросшего на окраине Майкопа вокруг дома президента республики городка, где среди остальных стоит и сакля кунака твоего...

Все - как Юнус хочет, так пусть и будет. Твоя задача - точность выражения мысли. А уж какая то будет мысль, для тебя - дело десятое, и все эти благонамеренные - в центре Москвы, на скамеечке перед зданием ИМЛИ, Института Мировой Литературы, - ученые разговоры с умнейшим Петром Васильевичем Палиевским о продолжении «кавказского миссионерства» Пушкина - пустой звук... Аул!

Ну, что делать, если «проклятый царизм» тут на дух, как говорится, не принимается... Если по-прежнему тут - вопрос ребром: с кем ты, Пушкин? С вольными черкесами или - с погубителем их, душителем всего передового-прогрессивного Николаем Палкиным, ым-м?..

Ох, как все непросто, когда ты, москвич давно, подолгу живешь в тихом с виду Майкопе и постоянно слышишь такое, о чем в столице даже и проницательному человеку не так легко догадаться...

Не очень весело, прямо сказать, посмеиваясь, шел обратно, у дома 42 шага замедлил, но желание постучать в калитку уже исчезло: все мои сомнения уже как бы рассеялись...

Все-таки остановился на миг, опять улыбнулся, на этот раз совсем горько: надо же!

«Улица А. С. Пушкина».

И тут же кольнуло: стоп!

А почему это ты решил, что тут непременно должна жить старенькая «словесница», обязательно русская?!

Забыл одного из главных героев в романе твоего кунака - аульского учителя русского языка Якуба Хуаде, который вызывает у детишек улыбку, когда вместо привычного «А. ЭС. Пушкин» они вдруг слышат: «А-Си»?..

«Мой милый» - по-черкесски. «Мой дорогой. Мое солнышко...»

Не хочешь ли, мой милый, говорил я себе, мое ты солнышко, принять теперь, ну как будто свалившийся на тебя со страниц «Милосердия...», совсем другой символ - чисто черкесский?!

Аул Пушкина!.. Аул.

А сколько в разговоре с Аскером Евтыхом, твоим старшим другом, поздним твоим наставником в терпении и мужестве, каких тебе никогда уже не достичь, сам ты, бывало, говорил: «В этом нашем большом ауле, в Москве...»

Аскер, Аскер...

Вся жизнь его - как будто доказательство взаимозависимости имени и судьбы: солдат, боец, воин.

И не с него ли, если на то пошло, начинался роман Юнуса?

В который раз старался воскресить я в памяти тот вечер, который провели мы в начале июня 1999 года в представительстве Адыгеи в Москве. Благодаря председателю республиканского парламента Мухарбию Тхаркахову, отзывчивая душа которого поняла тогда страдающую душу изгнанника из родных мест Аскера Евтыха, в столицу на посвященный Аскеру вечер приехали Магомед Кунижев, старый его и благородный друг, приехала троица талантливых литераторов помоложе: поэт Нальбий Куек, прозаик Юнус Чуяко, критик Казбек Шаззо. Глава представительства Пшимаф Шевацуков, спасибо ему, позвонил в Союз писателей России, пригласил председателя, Валерия Ганичева, но тот уезжал в командировку, пообещал, что вместо него приедет занимающийся национальными литературами секретарь Союза Валентин Сорокин.

Но Сорокин так и не приехал.

Зато «именинник» Аскер!..

На приставленных один к одному узких столиках уже лежали заранее заготовленные «тезисы» к разговору о творчестве патриарха адыгской литературы. Он понял это первым и, пока мы рассаживались, не спеша обошел стол за нашими спинами, собрал листки, разорвал и так же не торопясь отправился к мусорной корзинке в углу и бросил туда обрывки...

- Аскер? - запоздало раздались недоуменные голоса. - Аскер?!

- Пушкинские дни идут, - сказал он ворчливо. - Я ничего не написал о нем... Ну, при чем тут?..

Видели бы это неумолимые создатели собственной славы, которых столько развелось в последние времена в России - и на Кавказе особенно! Видели бы они, напрочь забывшие мудрое изречение древних: горячее желание прижизненной

Протянул им деньги - объясняться выпало мне:

- Дядя Нальбий с Кавказа. Он черкес... Слышали о черкесах? Только не думайте, что он - богач, нет. Просто он добрый и щедрый человек. И ценит дружбу...

- Вот это - главное! - согласился Нальбий.

Когда поднимались на лифте, посмеиваясь, сказал ему:

- Да, брат, поднял ты планку! Мне теперь неудобно будет давать ребятишкам меньше...

...Ребятишки чуть подросли и уже стесняются бросаться навстречу, пытаются делать вид, что за игрой не замечают меня, но я окликаю их, достаю кошелек и всякий раз говорю с грустной улыбкой:

- Ну, вы знаете: я не черкес...

- Знаем, знаем! - подхватывают они дружно.

- А друга-то моего помните, черкеса?

И они вскрикивают не только с восторгом, но даже как бы и с осуждением:

- Дядю Нальбия?..

Мол, как же это можно - забыть?

...И шел я, все это вспоминая, все складывая, по «аулу Пушкина» и думал: не такой он маленький, этот аул, нет. И не такой простой - не такой!

Конечно же, думал, ученые книжки недаром пишут, что одной из причин слишком надолго затянувшейся Кавказской войны было; в том числе; и разное толкование русскими и горцами одних и тех же немаловажных понятий. Как бы теперь сказали: слишком явное несовпадение менталитета тех и других...

Но неужели с тех пор так ничего и не изменилось?

И с горных высот своих и Пушкин, и Хан Гирей смотрят на нас без всякого проблеска надежды во взгляде, а только с

застарелой и безысходной печалью?

Так в истории вышло, что, после стольких совместных усилий научиться лучшему другу у друга, недоброжелатели почти сумели нас убедить в бесполезности этого якобы недостижимого дела... Им почти удалось нас уверить, что общим нашим достоянием сделались исключительно порочные свойства...

Но недаром мой проницательный друг Юнус, который наверняка не меньше моего и тоже с ноющим сердцем обо всем этом размышлял, по писательской интуиции, по чуткому прозрению вынес в заголовок романа, может быть, самое нужное для нашего жестокого времени слово: милосердие.

Только оно и объединит нас нынче. И - спасет.

Только оно.

Целебный посох

Работа над переводом, считай, - собственное творчество: где-то все идет как по маслу, а где-то застопорится, хоть плачь. Так же приходит вдохновение, и точно так же посещают сомнения, которые порой кажутся губительными. Хочешь - не хочешь, приходится расходовать свое, годами размышлений накопленное, но тебе почти тут же щедро возмещается, да еще как щедро!.. Кем?

Хочется верить - Творцом, хочется верить - Им.

И в итоге вдруг начинаешь понимать, что для отдачи другому тебе дается гораздо больше, нежели лично тебе самому.

Так, нет ли, но когда однажды во время разговора о качестве перевода я спросил Юнуса: мол, ты-то понимаешь, что у самого у меня нет такого романа, как твое «Сказание о Железном Волке», ты понимаешь? - он простодушно улыбнулся:

- Понимаю: конечно нет!

Опять приходится вспоминать зимнюю Гагру, в которой мы с Юрием Павловичем Казаковым жили в Приморском корпусе Дома творчества, в номерах почти напротив друг дружки... Я тогда невольно зауважал Евтушенко: после рассказа Юры о том, как тот прислал ему телеграмму с просьбой отказаться от перевода романа Нурпеисова - при условии, что Евгений Александрович обеспечивает ему год безбедной жизни с единовременной выплатой вперед из расчета пятисот рублей в месяц. Лишь бы Юра сидел и писал рассказы... И какое-то время - пока работал на братскую казахскую литературу - жил не то что безбедно, жил, как хан, со всеми вытекающими отсюда - и втекающими сюда тоже

- последствиями.

В тот день, когда год или два спустя после этого разговора по радио сообщили о присуждении Нурпеисову за роман «Пот и кровь» Государственной - а может быть, Ленинской, теперь уж не помню, - премии, мы опять были в Гагре, и Юра, тут же обильно обмывший это событие, ходил по комнате с глазами, полными слез, и заикался больше обычного:

- Т-ты понимаешь, с-с-старичок?..

В то время я так и думал и очень Юре сочувствовал, но теперь, когда сам - не то что на более скромных, потому что всю уже шла «перестройка», на нищенских попросту условиях - побывал в шкуре толмача черкесского «Железного Волка», с печалью и одновременно с большою радостью нечаянно осознал, что нет, братцы, нет: это уже не наше, это теперь принадлежит национальной культуре, которая ждала твоего пота и твоей крови, как ждет земля благодатного дождя, - безмолвно приняла и жадно впитала.

Во втором переведенном мной романе Юнуса Чуяко - «Милосердие Черных гор, или Смерть за Черной речкой», в «пушкинском» - есть одна маленькая история, которая сама по себе стала как бы отдельной, вставной, как часто мы говорим, новеллой. Герой, от лица которого ведется повествование, собственно - автор, рассказывает об аульском плотнике Кадырбече Мафоко, прозванном ребятей Кадырбечем Палкиным. В числе прочего, чем знаменитый мастер обеспечивал жителей всей округи, были ярлыги для чабанов, которые, прежде чем попасть по месту назначения, летели, случалось, вдогон улепетывающей после очередной проказы «отаре» аульских огольцов... Но не только поэтому, как понимаете, носил свое прозвище старый плотник: оно было отзвуком школьных уроков литературы, которые вел боготворивший Пушкина тихий учитель Якуб Хуале, защищавший своего любимца от «царских гонений» с таким пылом, будто они все еще продолжались...

В детстве рассказчик учился у Палкина плотницкому мастерству, но потом, потом...

«...на третий либо четвертый год ученичества у Кадырбеча я заскучал... Нет, я вовсе не почувствовал, что тайн мастерства для меня уже не осталось, хотя подумать об этом и можно было. Соседки вскоре стали говорить маме: «Ей, Зулих, я тоже хочу попросить у тебя такую же маленькую лопаточку, какую твой Краснодеревщик сделал для Фатимы: она показала мне - ею так удобно лепешки переворачивать!»

Как теперь молодежь говорит: оно мне надо?

Но мы тогда таких слов не знали, не пойти старшему навстречу - это казалось просто невероятным... как после этого дальше жить будешь?..

Пожалуй, к тому времени бог Мезитхе, который не только леса охранял, но наверняка присматривал и за теми, кто

колдует над деревяшками, просто пожалел меня... Плотницкое дело перестало в руках спориться, и единственное, что у меня по-прежнему получалось, это деревянные палки с гнутыми ручками, которыми я уже успел половину аула обеспечить: ходить с такой палкой среди нашей ребятни сделалось шиком - с моим изобретением не только ходили, но в одно время даже непременно прихрамывали.

Само собой, что скоро я попал у Кадырбеча в лентяи, дальше подзатыльников дело не шло - до макушки, чтобы по головке погладить, рука у него больше не поднималась.

И все-таки он еще терпел меня, и, когда мальчишки постарше решили разыграть его, в той игре мне пришлось исполнить одну из ролей самых неблагоприятных.

- Кадырбеч! - начал из-за плетня Анзор-Однокашник. - Ты был в лесу, а к тебе Пушкин приходил... Искал-искал. Ждал-ждал. Тросточку, говорит, хотел тебе заказать: ему сказали, что лучше тебя никто в Бжедугии ему не сделает. Велел передать тебе, ждать будет. Спросил у нас: сколько ему надо времени? Чтобы хорошая была. Лучше всех. Мы говорим: ну, месяц. Он: а не мало?.. Ну, два. Хорошо, говорит. Скажите ему, через два месяца зайду.

- Как, как его? - заинтересованно переспросил Кадырбеч.

Однокашник зевнул:

- Пушкин. Пушкин...

Мой наставник повернулся ко мне:

- Подтверди, это правда?

Ну, что мне оставалось делать, ей!..

Тогда мне казалось, что я нашел выход из положения, ничего не стал говорить. Я кивнул.

- Если он опять придет, когда я буду в лесу, - глядя все еще на меня, громко сказал Кадырбеч, - передайте ему: через два месяца тросточка будет готова.

Жили мы тогда хоть бедно, да весело: вскоре эта проделка была чуть не начисто забыта, стертая другими фантазиями, которым долго потом весь аул не переставал удивляться.

Но однажды, месяца, и действительно, через два-три, не больше, наша нанэ окликнула меня, когда мы за сараем играли в ножички. Прибежал, и она сказала, как взрослому:

- Там к тебе Кадырбеч-мастер. Сидит в большой комнате.

Все еще в горячах от игры, я и подумать не мог, зачем он прошел.

- Я все жду-жду, - начал он сразу. - А его все нет и нет...

Он сидел на стуле боком к столу, облокотясь на него правой рукой, а ладонь левой прикрывала наверхие стоявшей между разведенных колен новенькой тросточки темного цвета, который мне тогда показался вишневым...

- Жду-жду, - повторил он, и я почувствовал, как жарко запыхало мое лицо, как уши словно обдало кипятком. - А его все нет и нет.

- Меня? - еле выдохнул.

Он приподнял руку на локте:

- Ей!.. Тебя я каждый день вижу. Когда мимо несешься, - и сложил на палке обе ладони. - Его!

Если бы пламя с моего лица на дом перекинулось - мне, и правда, было бы легче. Уж как-нибудь потушили бы... Тут-то что делать и о чем говорить?!

Но для Кадырбеча вопроса этого не было:

- Самшит, - сказал он. - Но я из него все выжал... полегче стал. Но крепкий, как железо. Как раз эту ему... руду, руду...

Может, я даже не спросил, а только подумал: какую руду?..

- В Сибири! - сказал Кадырбеч не только весело, но как бы даже и беззаботно. - У глубине, э?

Ну, что мне было делать?

И он наверняка знал это.

- Поставь! - сказал, протягивая мне тонкую, но увесистую тросточку. - В угол, да. Или за шкаф. Придет - отдашь. Денег не надо. За так, скажешь... нет!

Какое серьезное у него лицо сделалось!

Тогда я этого слова не знал, но, когда впервые встретил потом в русской книжке, тут же вспомнил мастера Кадырбеча-Палкина: благообразное стало лицо. Красивое. И очень значительное.

- Скажешь: старый черкес Кадырбеч посчитал за честь тебе сделать!

С поднятым заскорузлым пальцем над крестьянской своей пятерней стоял, словно к чему-то очень далекому прислушиваясь...

Бросил руку вниз, будто ненароком задев повлажневшие глазницы краем рукава своей замызганной «стеганки» и, как бы уже чего-то в себе стыдясь, добавил тихо:

- А то придет он, а меня дома не будет... или не будет вообще. Не только в нашем ауле... Отдашь!

Чтобы пойти проводить его, как положено младшему, далеко за калитку, я сунул тростку за шкаф и тут же словно забыл о ней... Иначе что я скажу нанэ?... А вдруг меня начнет расспрашивать тат?

Хорошенько рассмотрел я ее только тогда, когда из дома ушли все старшие, включая брата Аскера... Что это была за трость!

Круглый массивный набалдашник с прорезью прожилок на светло-коричневом дереве - скорее всего из дикой лесной груши. Колечко под ним - узкая, с тонким узором, полоска черненого серебра: тогда я даже не понял, что это и откуда у Кадырбеча оно могло взяться. А ниже него - на взрослую добрую пядь, на четверть метра по темной, искрасна-коричневой палке шел черный адыгейский орнамент: какой маленький и какой четкий!

Наконечника палочка не имела: видно, в крепости работы своей Кадырбеч и так был уверен.

Вскороги я поступил в педучилище, уехал в Майкоп, и о палке вспомнил только через несколько лет, когда, приехав на каникулы, узнал вдруг, что учивший когда-то меня мастерству плотник Мафоко покинул этот мир, где так много было сделано его без конца ищущими работу руками.

- И отнесли его на носилках, которые он смастерил еще до войны, - печально говорил тат, и в голосе у него слышалось то ли назидание мне, а то ли укор. - И обмыли на том столе, который он не так давно подновил на кладбище: ножки на

нижней стороне, куда вода стекает, слегка стали подпревать... Ему: ладно, сто лет еще простоит! А он: другие поставлю. Как знал... И столбики себе на могилу заранее приготовил. И умудрился даже памятную табличку... Какой на ней полумесяц получился красивый!

В большой комнате, которую у нас теперь нет-нет да и величали на русский лад залом, никого не было, когда я решил проверить: на месте ли тросточка, которую сделал тот, кто ушел?

Тросточки не было.

Я выскочил во двор, бросился к нанэ:

- Там у нас за шкафом стояла такая палочка...

- Стояла, - неспешно согласилась нанэ. - Но я ее дала Хапсироковым, когда старшему бричка переехала ногу...

В городе я прожил уже достаточно для того, чтобы научиться в чем-то себя отстаивать:

- Как можно, нанэ? Как можно чужие вещи...

Опережая меня, она подняла сморщенную ладошку:

- Я предупредила: это не наша. Эта палочка большому человеку принадлежит. Пушкину!

Все-то они, оказывается, знали!

- Потеряет или...

- Не потерял! - снова опередила она меня. - Пришел, когда перестал прихрамывать. Красивый посошок этот под мышкой. Круг сыра принес: отблагодарить. И говорит: а знаешь, Зулих, какой это бещкогациг?.. Ему цены нет. Не только перестал хромать - у меня язва на руке зажила!.. Бывший бригадир встретил меня, поговорили, просит теперь маленько с ним походить... Позволишь, Зулих?

Кто только не ходил потом с «палкой Пушкина» и в нашем ауле, и даже в соседних, куда тоже донеслась молва о чудодейственных свойствах «бещкогацига» из нашего Гатлукая: что бы у тебя ни болело, походишь - как рукой снимет...

Считается, что он мой, иногда, когда бываю в ауле, нанэ мне рассказывает, что ей передали чуть не с другого конца нашей Адыгеи: пусть не волнуется, все, мол, в порядке, «Пушкин-бешкогациг» в целости и сохранности и многим, слава Аллаху, помог - ей, многим!

Сам я с тех пор его в глаза не видел.

Но не на него ли опираюсь я нынче, когда веду тебя, мой читатель, по страницам этой нележкой для меня повести?..»

Вот вышла отдельная книжка, вот в Национальной библиотеке, еще недавно носившей имя Пушкинской, на презентацию, будь неладны новомодные эти слова, вытесняющие наши исконно русские, собрались не только приглашенные для подстраховки студенты местного университета, но и люди куда старше по возрасту, куда выше по общественному положению... Еще на подходе к библиотеке я почему-то вспомнил декана юрфака Батырбия Шекультирова, блестяще выступившего несколько лет назад на обсуждении Юнусова «Сказания о Железном Волке»: какие удивительно глубокие вещи он тогда говорил!..

И вдруг первым увидел его теперь в холле библиотеки, дружески обнялись, и тут же мне пришлось протянуть руки, чтобы так же братски приветствовать еще одного Батырбия, Берсирова, заведующего кафедрой литературы. Уже двух этих Батыров, под стать именам своим масштабно мыслящих, но не отрывающихся от родной, от черкесской почвы мудрецов, хватило бы для серьезного разговора о новом романе моего кунака Юнуса... Но сколько еще достойных людей не переставало появляться в переполненном зале библиотеки, невольно облегчая и без того нелегкую студенческую участь: согласно почти незыблемому пока в этих краях этикету вскакивали, уступая место достойным людям, не только охотно - чуть не наперебой, и вот уже плотная молодежная стенка выстроилась позади сплошь занятых столиков читального зала и начинает, все пополняясь, вытеснять в коридор первых счастливых... «Мы все учились понемногу» - и в самом деле, не так ли?

Многих из пришедших давно знал и приблизительно представлял себе, что может сказать умница и добряк Магомет Кунижев, написавший к роману задумчивое, как он сам, предисловие, что - сидевшие и тут рядом два доктора наук из Республиканского института гуманитарных исследований: философ Руслан Мамий и Абубачир Схалыхо, филолог... Но среди старых знакомцев, черкесов, сидел один из немногих пришедших на презентацию русских - сорокалетний Кирилл Анкудинов. Один из наиболее заметных в последние годы в Адыгее литераторов, неординарный поэт и блестящий критик, он всем своим отрешенно-академическим видом как будто делал заявку на особенное внимание к нему, и я с интересом думал: что он, и правда, скажет?

- В романе есть на первый взгляд незатейливый рассказ о тросточке, - негромко начал Кирилл, и у меня вдруг возникло невольное ощущение, что он подступает к чему-то, может быть, главному. - Разыгранный озорниками аульский мастер сделал ее для Пушкина. Но доверчивость в нем недаром жила вместе с мудростью: тросточка не только начинает выручать тех, кто почему-либо нуждается в прочной опоре, - вскоре чуть не по всей Адыгее в народе распространяется слух, что она лечит от всех болезней... И начинаешь понимать: это рассказ о том, что пушкинское слово целебно. Что

оно и сегодня значит для Кавказа куда больше, чем речи политиков. Они наносят раны... Пушкин врачует их. Врачует и ныне, сейчас, когда это особенно необходимо...

Мне пришлось восхититься: а ничего себе?!

С другой-то стороны: не ради ли этого, может, не осознавая все до конца, мы с Юнусом работали?

- И еще, - все так же тихо и медленно, словно вновь размышляя, продолжил Кирилл. - В романе есть несколько эпизодов, когда герой, от лица которого ведется повествование, в мечтах своих пытается уберечь Пушкина от ранней смерти. Еще аульским мальчишкой, возвращаясь от школьного учителя, который боготворил Александра Сергеевича, от полноты чувств он подпрыгивает на улице, словно желая принять на себя пулю, выпущенную Дантесом, и вместо поэта падает в снег... Похожее повторяется в его фантазиях вновь и вновь: когда он давно стал взрослым, когда созрел как писатель, его все не оставляет уже привычная боль, страх потерять Пушкина... Мне кажется, тут мы имеем дело с подсознательной боязнью в результате всех нынешних катаклизмов на Кавказе лишиться всей русской культуры... остаться без матери-кормилицы...

Ну, не оракул?!

Юнус внимательно слушал: уже чуть постаревшее, но все еще значительно-красивое, как у настоящих, у родовитых черкесов, лицо его оставалось невозмутимым...

Полез вдруг во внутренний карман пиджака, достал почтовую открытку с профилем Пушкина, положил передо мной текстом вверх, сказал полушепотом:

- Хотел тебе сюрприз: получил позавчера еще.

«Дорогой Юнус! - написано было бисерным почерком. - Спасибо за книги, только сейчас успел прочесть и жалею, что «Железного Волка» не знал раньше, а с «Милосердием» поздравляю. Тем более, что оно - главное, на что надеялся Пушкин в будущем Кавказе («Газит»).

Не знаю, как Вам, но в переводе Гария слышно эхо гор: писатель! Вообще с таким ориентиром, как Ал. Серг., мы, конечно, не пропадем.

Ваш...».

Дальше следовала вроде бы знакомая завитушка, и я поднял глаза на Юнуса, молчаливым кивком спросил: мол, кто это,

кто?

- Петр Васильич, - сказал Юнус не без торжественной нотки. - Палиевский.

Что ж, соблюл этикет: отдавая должное прежде всего старшему с непререкаемым его авторитетом тихого и столь немногословного в последнее время столичного мудреца, заодно соглашался с неожиданными для нас обоих прозрениями мало кому известного пока провинциального поэта и критика Кирилла Анкудинова...

Вождь Пляшущий Огонь, потомок Пушкина

По телевизору смотрю только новости, причем по разным каналам - что-то перепроверить, что-то сравнить. Деваться некуда: всеобщая брехня чуть не каждого из нас давно сделала заправским аналитиком. На программу передач уже не обращаю внимания, ни к чему, но вот такое получается дело: надавишь на кнопку, бывает, походя, по какой-то якобы случайной прихоти - и вдруг увидишь сюжет, как бы именно тебе предназначенный... Есть, определенно есть некий закон, по которому в нужный момент чуть не стремительно начинает стекаться так необходимая тебе информация, но происходит это обычно после произвольной вспышки душевного напряжения, которое становится своего рода заявкой, если хотите, либо - как в библиотеке, предположим, - заказом... Ох, этот всеобъемлющий, но неведомый нам, таинственный Небесный Архив, который нет-нет да и побалует нужным знанием!

Здесь, правда, было чуть иначе...

Или тоже сказалось притяжение сокровенной для русского сердца фамилии, под знаком которой в последнее время непрестанно размышлял?.. Тут тебе и собственные короткие рассказы о людях, так или иначе отдавших вольную либо невольную дань уважения Александру Сергеевичу, и работа над переводом романа Юнуса Чуяко «Милосердие Черных гор, или Смерть за Черной речкой».

Так, не так, - надавил я эту самую кнопку на телевизоре во внеурочное время и вдруг прислушался, и в изумлении замер...

Шла передача, как после понял, «Жди меня», говорили о легчике-истребителе, без вести пропавшем в конце войны, в сорок четвертом... В ту пору он был уже майор, успел получить Звезду Героя Советского Союза и считался одним из самых известных наших асов, но однажды не вернулся из-за линии фронта. Кто-то из летавших с ним на задание пилотов рассказал: видел, мол, как майора подбили, как он выпрыгнул из горящей машины и почти у самой земли немецкий летчик догнал его и пулеметной очередью прошил парашют...

И вот через столько десятков лет выяснилось, что жив тогда остался майор, - жив!

До конца войны пробыл в концлагере, освободили его американцы и убедили, что возвращаться на родину ему нельзя: уж кому-кому, а Герою Советского Союза Большой Джо, он же товарищ Сталин, плена не простит.

И понесло майора по свету, как перекасти-поле под ветром.

Сначала Штаты, потом - Канада. Сперва женился на дочери вождя одного из индейских племен, а потом...

Сколько лет стояла у меня на книжной полке эта яркая, величиною с тетрадный лист, глянцевая открытка!.. В традиционном уборе из разноцветных перьев, в пестрых одеждах - индейский вождь с неизменной «трубкой мира» в ладони... На обороте - рисунок, сделанный им от руки: голова с перьями и под нею - автограф на английском: «Чиф Покинг Файр».

«Вождь Пляшущий Огонь» значит.

Взял ее тогда для своих маленьких сыновей, но стояла у меня в кабинете, мол, пока подрастут, и я ею очень гордился и охотно принимался об этом «чифе» рассказывать, а потом, скорее всего при очередном переезде, открытка перекочевала в одну из многочисленных папок с черновиками, письмами, вырезками из газет... Боже мой, сколько лет с тех пор прошло, сколько лет!

Воистину: неисповедимы пути Твои, Господи!

А тогда...

Очень ярко запомнилось, как мы в резервацию ехали, скорей всего потому, что водитель автобуса, совершенно лысый толстячок по прозвищу Ханни-Медок, или Сладенький, снова разговорился, наша переводчица, у которой все «от зубов отскакивало», едва за ним поспевала. Правда и то, что было о чем рассказывать: большой туристский автобус, в котором мы по Канаде ездили, стоял теперь на краю только что ушедшего куда-то под передние колеса моста, а перед носом у него по полноводному каналу торжественно катил океанский лайнер...

- Это единственное место в Канаде а может, на всей земле! - захлебывался, повернувшись сияющим лицом в салон, наш добродушный коротышка-водитель. - Единственное место, где автомобиль может столкнуться с пароходом, да-да!.. (Стоило ему, Ханни, сейчас зазеваться, и половина из нас еще путешествовала бы по земле, а другая уже выходила бы в открытое море, да!)

От резервации сохранилось ощущение осенней свежести где-нибудь в сибирском таежном сельце... как знать! Может быть, это нас еще ждет?

А тогда...

Тогда, в шестьдесят шестом, в ноябре, это была первая поездка большой молодежной группы от нашего «Спутника» в Канаду, нас принимала фирма «Глобтурс», глава ее Рэй Довгополок счел нужным лично сопровождать нас и сопровождал неотлучно, из строгого, почти неподступного сперва мистера Рэя постепенно превращаясь в гарного хлопца Романа...

Нет, недаром редактор журнала «Барвинок» Богдан Чалый взял тогда с собой за рубеж добрый, в несколько килограммов, пласт сала с чесночком, а секретарь Киевского горкома комсомола Коля Стрела - пять литров домашней горилки - чистого, как слеза, самогона из жита.

Сделали они свое дело, сделали - повергли Романа в такую глубокую ностальгию, что вскоре мы стали опасаться: не разорится ли не такой и богатый «Глобтурс» уже на местном самогоне - на виски?

Обедали мы, как правило, в протестантских ресторанах, где за столом исключалась даже рюмка спиртного, а потому карманы нашего Рэя очень скоро стали оттопыриваться точно так же, как у какого-нибудь заправского ханыги в Москве или «у Киеву»: в каждом из них чуть не постоянно в боевой готовности отвисала пара бутылок «Длинного Джона» - не путать с «Большим Джо»! - а перед собой, на груди, он удерживал высокую стопку один в один вставленных стаканчиков из пластмассы...

Перед обедом в любой провинции, в любом городе всякий раз мы чуть ли не торжественно шли за Романом в туалет, и в сияющей чистотой, похожей на зал парикмахерской высокого класса, передней комнате разбирали «посуду», а наш затосковавший по нэньке-Украине кормилец мгновенно превращался в щедрого поильца... Славяне, они - и в Африке славяне!

Тем более - в Канаде, дождливой осенью...

Надо ли говорить, что дух среди нас держался чуть ли не постоянно приподнятый и ему соответствовали и слишком раскованные разговоры, и смех, а то и беспричинное ржанье.

В этом случае все же хватило деликатности начать шепотом:

- Да ты на морду-то вождя погляди!

- Морда как морда.

- Ты так думаешь?
 - Чего тут думать!.. Обыкновенная бандитская рожа. Не успеешь оглянуться, как скальп с тебя снимет, - одним махом!
 - Да я тебе не о том!
 - Мы думали, за свой скальп переживаешь...
 - Да идите вы, я серьезно!
 - Морда как морда... Что тебя не устраивает?
 - На нос погляди!
 - Ну, картошкой...
 - А я тебе про что?.. Да и не только нос. Что-то такое во всем лице...
 - Это в тебе уже тоска по родине говорит. Как наш Роман в каждом хохла видит, так ты - москаля...
 - Да не тоска это - самый настоящий национализм: даже из индейского вождя русака готов сделать - ну, обнаглел!
 - А мы все в национализме братьев-украинцев обвиняем...
 - И правда: ты хоть скрывал бы от товарищей!
- И все-таки я подошел к нашей переводчице, подвел ее поближе к застывшему, как и полагалось, в глубоком, прямо-таки космическом раздумье вождю.
- Спроси у него, спроси, пожалуйста: этот человек, мол, считает, что у вас очень русское лицо. Ему так кажется?.. Или есть основания так думать?

Наша милая татарка Дина с улыбкой заговорила по-английски, и из всей ее достаточно длинной речи я понял только то, что она назвала меня «мистером»: мол, мистеру кажется...

Сколько раз стыдил я себя за незнание английского! Ведь именно его изучал. И не где-нибудь - в МГУ. Не у кого-нибудь

- у Мокина, с его особой методикой. Сам отобрал нас, несколько человек, и на занятия велел приходить непременно с зеркальцем: чтобы легче было произношение осваивать. Артикуляцию.

Но на сибирской стройке, куда я после МГУ поехал «по велению сердца», или, как считали сперва дружки, «по собственной дури», была своя артикуляция. Особая. Доставшаяся нам в наследство от наводнявших тогда Кузбасс лагерей.

Ничто не изменилось в неподвижном лице вождя, когда он заговорил, - на нем, и правда что, лежала печать тысячелетней отрешенности от суеты мира... Странное дело, странное!

Столько лет прошло, столько в мире изменилось, но я всегда помнил его глубокий, полный мужественного и печального спокойствия взгляд, и очень живо, совершенно явственно вижу сейчас, когда корплю над этими строчками...

Ничего я в его ответе не разобрал, понял единственное - он дважды повторил: Пушкин, Пушкин.

- Вождь Пляшущий Огонь говорит, что в роду у него действительно были русские... Очень давно, говорит. Они были потомки Пушкина, и он об этом не забывает.

С бесшабашной настырностью, отличавшей нашу «ударную комсомольскую» стройку, я бросился пожимать ему руку, потом одной попридержал за плечо, а раскрытой ладонью другой предупредил: мол, отлучусь на минуту, вы - куда?

Вернулся в магазинчик-вигвам с дешевыми сувенирами, заплатил за открытку и помчался обратно.

Все так же невозмутимо вождь сперва написал моей шариковой ручкой на обратной стороне: «Чиф Покинг Файр». Глянул на меня и пририсовал над автографом голову человечка с перьями в волосах... Или это мне теперь кажется - глянул, мол?

По телевизору продолжали рассказывать об удивительных, почти невероятных приключениях русского летчика, но видевшие его в резервации называли вождя «Огненная Кочерга», и я бросился к англо-русскому словарю, лихорадочно принялся листать его: не может быть, чтобы это был другой человек... Что у них там, на каждое индейское племя - по русаку?

Все-таки нашел: ну, конечно же, пожалуй, можно и так истолковать, да, но все-таки наша Дина перевела тогда, может быть, точнее, а главное - поэтичнее.

Мы были в Канаде незадолго до открытия там всемирной выставки, через полюс летели в Монреаль самым первым пассажирским рейсом нашего Ту-114, а после там кого уже только не было: ведущая представила теперь и

симпатичного, почтенных лет человека, у которого случилась служебная командировка на выставку, и обаятельную даму, туристкой ездившую в Канаду уже гораздо позднее. Оба уверяли, что говорили с «вождем» на чисто русском языке и называли его теперь по имени-отчеству... Что ж нам-то он тогда не открылся?

Или оттого и промолчал, что ваш покорный слуга шел на него... Да что там! Пер как танк.

А телеведущая припасла еще одну историю о русском летчике, ставшем вождем индейцев: знаменитый танцор, мол, Махмуд Эсамбаев, любил рассказывать, как Огненная Кочерга принимал его в своем вигваме и жена, коренная индианка, угощала их настоящим борщом, а после втроем они пели русские песни...

Но ведь все это было уже потом, уже недавно, можно сказать, а тогда, тогда... Когда только начали нам развязывать языки домашняя горилка Коли Стрелы и «Длинный Джон» мистера Рэя-Романа Довгополюка...

Но почему он вспомнил тогда о Пушкине?

И написал ли я об этом? Что я вообще о нем написал?

По горячим следам тогда путевые свои заметки я так и назвал - «Канада русская», но в журнале «Сибирские огни» подстраховались, мол, слишком много - об эмигрантах, и вышли они под унылым заглавием «Канада глазами туриста». Как ни странно, я получил тогда много писем, но ни в один из сборников эти очерки потом не вошли, черновики вообще затерялись - хорошо, если в каком-нибудь из дальних углов лежит пожелтевший номерок «Сибогней»... Найти попробовать?.. Поехать, если что, в зал периодики Национальной, как она - теперь, библиотеки за станцией метро «Речной вокзал»?.. И непременно разыскать цветную открытку с надписью по-английски на обороте и с нарисованной головой в перьях, ну непременно!

В монреальском порту стоял в те дни один из самых больших наших теплоходов, «Александр Пушкин». Название это было тогда в Канаде у всех на слуху. Разбередило душу... Может, и вся разгадка?

Или ему, мальчишкой когда-то читавшему книжки про индейцев и самому испытавшему теперь это свое фантастическое перевоплощение в «вождя краснокожих», все помнилось родное присловье: а это, мол, за тебя кто сделает?.. Да Пушкин!

Так примерно и тут: мол, кто вы?.. Потомок Пушкина!

Или все гораздо сложнее?

Если пели с Эсамбаевым русские песни, то уж не только их он помнил, - наверняка!..

...Вышло так, что на следующий день, под еще не остывшим впечатлением, рассказывать о судьбе летчика, ставшего вождем племени ирокезов, я взялся не кому-нибудь - иеромонаху из Саввино-Сторожевского монастыря отцу Феофилу, окормлявшему семью сына Георгия, а в какой-то мере - и вашего покорного слугу, многогрешного...

Отец Феофил выслушал меня так же невозмутимо, как в свое время индейский вождь - нас с переводчицей, и только коротко сказал:

- Душу погубил.

- Но что ему оставалось?! - воскликнул я горячо.

- Это остается всегда для всех: не губить.

- Но, батюшка!..

- Или ты видел православный храм в этой резервации? - спросил отец Феофил. - И этот твой вождь крестил индейцев из своего племени точно так же, как чад своих - Герман Аляскинский?

Поговори с ними!

Несколько лет назад отец Феофил подарил нам прелюбопытное издание с простеньким названием: «Букварь школьника». У него есть подзаголовок: «Начала познания вещей божественных и человеческих». Построенный по принципу словаря - от «А» до «Я», состоит этот «Букварь» из шести увесистых - каждый около полутора тысяч страниц - томов.

Начав листать его, чуть ли не тут же с удивлением наткнулся на большую статью о Троцком и троцкизме, потом уже целенаправленно нашел гораздо меньшую по объему справку о Ленине, а Сталина, как ни старался, сперва в «Букваре» не обнаружил.

Зато чуть позже, когда принялся за ежедневное, хоть понемножку, чтение, не только упоминание о «вожде народов», но и достаточно подробные факты стал находить в статьях, которые в сознании моем до того не имели к нему как бы никакого отношения. То вдруг из рассказа о московской народной любимице Матроне узнаешь, как он приехал к ней в роковом сорок первом, и она, слепая, строго воскликнула: «Появился, красный петух!» То вдруг полюбопытствуешь: «Сентябрьская встреча» - о чем это может быть? И прочтешь: «4 сентября 1943 г. патриаршему местоблюстителю митрополиту Сергию позвонил Г. Г. Карпов - начальник отдела НКГБ, осуществляющий негласный надзор за Русской Церковью.

- Правительство, - сказал он, - имеет желание принять вас, а также митрополитов Алексия и Николая, выслушать ваши нужды и разрешить имеющиеся у вас вопросы.

Митрополит Сергей был заблаговременно предупрежден о возможной встрече и постарался не задержаться, - в тот же вечер в Кунцеве состоялась встреча. На ней, помимо Сталина, присутствовали Молотов, Берия и Карпов. Протокол беседы, длившейся 1 ч. 55 мин., раскрывает подробности и содержание.

Сталин, как и подобает хозяину, был непринужденно любезен и доброжелателен. Он выразил благодарность Русской Православной Церкви за помощь фронту, после чего митр. Сергей осмелился высказать заветную просьбу о созыве Архиерейского Собора для избрания Священного Синода и Патриарха. Глава правительства одобрительно кивнул, но, услышав от митрополитов, что созвать Собор можно не ранее, чем через месяц, недовольно заметил:

- А нельзя ли проявить большевистские темпы? - и тут же распорядился через Карпова организовать доставку архиереев в Москву самолетами, отведя на это 3-4 дня. Тут же было принято решение о немедленном созыве епископов 8 сентября 1943 г.».

А пространный статья о «митрополите, святителе и молитвеннике за страну Российскую» Илии Ливанском, после явления ему Божией Матери сумевшем передать Сталину «определение Божие для страны и народа»?

Да это - чуть ли не гимн Иосифу Виссарионовичу!

Как-то я сказал об этом одному священнику, давнему своему доброму знакомому, пошутив при этом: а что?.. Уж не собирается ли наша Церковь товарища Сталина прославить?

- Вам это наверняка неведомо, - задумчиво ответил священник. - Вообще мало кому... Но старцы говорят, что как спаситель России скорее всего он будет прощен.

И часто я размышляю теперь об этих двух: «вожде народов», Большом Джо, и о вожде крошечного племени ирокезов...

Как все-таки, думаю, он сам-то себя, когда приходилось, по-русски звал?

Огненная Кочерга - в этом вроде больше домашнего тепла и уюта, которого всякому перекасти-полю не хватает... Ему-то, может быть, - до конца жизни, а может, в конце - особенно...

Пляшущий Огонь...

Разве не плясал он несколько страшных лет на конце ствола авиационного пулемета летчика-истребителя, Героя

Советского Союза майора Ивана Ивановича Доценко?

Тоже спасителя Отечества...

Сэмаур

На выставку самоваров позвали за час до открытия, заторопился и в спешке не подумал, что к нашей с Юнусом работе, к его «Милосердию Черных гор...», может она иметь, ну самое прямое, что называется, отношение.

Это уже потом припомнился мне отрывок из пушкинского «Путешествия в Арзрум», который в Майкопе мне пришлось выучить наизусть еще и потому, что начинается он прямо-таки сакраментальным для черкесов вопросом: «Что делать с таковым народом?»

Многие тут до сих пор не могут простить его Александру Сергеевичу, хотя сразу же вслед за ним в тексте следует достаточно мирное: «Должно, однако ж, надеяться, что приобретение восточного края Черного моря, отрезав черкесов от торговли с Турцией, принудит их с нами сблизиться. Влияние роскоши может благоприятствовать их укрощению: самовар был бы важным нововведением».

Юнус-то молодец: пушкинскую «подачу» разыграл и в самом деле блестяще, на всю катушку, как говорится, раскрутил. Разожженный им в самом начале «Милосердия...» и прямо-таки исходящий затем творческим жаром «сэмаур» - так наш «самовар» звучит в адыгском произношении - и согрел сердечным теплом, и мирным домашним светом озарил не одну страничку романа, любо-дорого было перечитывать их в дословном «подстрочнике», радостно на русский манер перелагать, а когда натыкался на печальные подробности нынешней жизни на Кавказе - что ж, с понимающим вздохом отдавал должное мастерству моего друга-черкеса...

Но сперва я обо всем этом не вспомнил, а нахлынуло давнее: как три десятка лет назад, когда жил в Майкопе, шнырял по воскресеньям между бескрайних рядов местной «толкушки», высматривал и самовары, и всякие другие старинные вещишки, которых в те поры имелось тут в изобилии... Уже до революции этот небольшой городок считался не только зажиточным - среди насельников его было достаточно людей интеллигентных в самом добром смысле этого слова.

Тут я успел застать в живых одного из первых русских летчиков, Петрожицкого, командовавшего в Гражданскую «ревавиацией». С печальным сердцем и сегодня посмеиваюсь, вспоминая его «рассказы из инвалидной коляски»: как в чистом поле где-нибудь вдалеке от боев слетались по-дружески потолковать да рюмку-другую выпить «белые» да «красные» одноклассники первой в России летной школы, как по-братски договаривались хранить друг друга при неожиданных небесных свиданиях на встречах курсах.

Куда трудней пришлось ему потом в лагерях, но и через них он смог пронести старинную скрипку, нет-нет да

звучавшую ночью в бараках, объединивших побежденных и победителей...

Тогда же, в Гражданскую, остались тут бедовать разночинные беженцы двух столиц, а после Отечественной он превратился в «город отставников», многие из которых «добивали врага в собственном логове» и умудрились не только вернуть обратно кое-что из награбленного немцем в России, но и прихватить заодно много всячины, раньше на родине не виданной...

Пяток старых, с медалями, самоваров я увез тогда отсюда в Москву...

Один из них - особенный, варной самовар. Для приготовления еды.

Краника у него нету, зато внутри есть перегородка сверху донизу: сразу можно сообразить и первое и второе, либо два горячих блюда одновременно. Крышка состоит из двух половинок, они, само собой, снимаются, а изящная ложка на длинной вертикальной ручке, с загибом на манер скрипичного ключа на конце, устроена таким образом, что носок ее способен забраться в самый, казалось бы, недоступный уголок внутри...

Изрядная коллекция в доме у нас имелась и до того, но этот, варной, что называется, добил меня, - отложил вдруг все остальное и несколько дней, полный мучительного блаженства, корпел над многостраничным рассказом «Колесом дорога», закончил его как раз накануне отъезда в Гагру, в Дом творчества, и первым его читателем, так вышло, стал Юра Казаков.

Может быть, это вообще была лучшая пора моей жизни?

Сухая, исходящая все еще мреющим над морем воздушком поздняя осень, промозглая, с затяжными дождями зима со скучающими в парке среди пальм мокрыми павлинами, начало сырой весны с гулким боем тяжелой волны о бетонную набережную... Именно в это время, когда писательская братия предпочитала уют Каминного зала ЦДЛ в Москве, а здесь хозяевами не только большого многоэтажного корпуса - крошечного Приморского, в сезон достававшегося только писательской элите, тоже становились донецкие, тульские да сибирские шахтеры, пробующие сперва в «Гагрипше», самом дорогом ресторане, любимое сталинское вино, «Киндзмараули», но уже к середине отпуска начинавшие забираться все выше в гору, стучать в калитки грузинских да абхазских домов в поисках чачи покрепче да подешевле, - как раз в такие поры съезжались мы с Казаковым в Гаграх.

- А п-почему я д-до сих пор не знал тебя? - спросил он, когда впервые прочитал несколько рассказов.

Недавно возвратившийся на Кубань, на родину, из Сибири, я внимательнее обычного ловил перемены в речи моих земляков и потому ответил ему новомодной тогда категорической фразой: это - твой вопрос!

Не то чтобы заикнулся сильнее обычного - он прямо-таки захлебнулся удивлением:

- М-м-мой?!

- А чей же? - спросил я с кубанским напором, соединявшимся тогда во мне с сибирской гордыней, родной сестрой провинциальной наивности.

- Т-ты меня д-даже не удивляешь... к-как это тебе объяснить? - спросил он тоном опечаленного учителя. - Почему, скажи, Распутин прислал мне книжку... Лихоносов свою прислал. А ты - нет.

Тут только стало до меня доходить...

И если бы дошло в конце-то концов хоть когда-нибудь, если бы!

Посылать свои книжки «классикам» либо отдавать из рук в руки со словами пиетета в дарственной надписи «великим», к большому сожалению, я так и не научился.

Сперва мы слегка поспорили, когда Казаков прочел мой рассказ о самоварах...

Описывая в самом начале старинный медный пятак, я позволил себе сказать, что «отчищали монету, видно, без особого упорства, она так и осталась темною, и сквозь прикипевшую к чеканке ржавчину пятнами проступала глухая прозелень...».

- П-пра, имей в виду! - сказал он, возвращая рассказ. - На пятаке. Празелень!

- Ты считаешь?

Он усмехнулся:

- Это не я так считаю. Так считает «великий», к-как ты помнишь, и «м-могучий» русский язык.

Иной раз бывает неловко за тогдашнюю дремучесть, теперь во всех, какие были с тех пор, изданиях рассказа «Колесом дорога», конечно же, стоит это, позволю себе, казаковское, «пра...».

А тогда, когда я с ним наконец-то согласился и тут же слово поправил, Юра сказал: ну, вот, мол, и хорошо. Теперь он

может и попросить: а не хотел бы я посвятить рассказ ему, Казакову?

Не стану пытаться описать Юрину улыбку, по-детски светлую и беспомощную, в те дни, когда переставал выпивать...

- П-посвяти?

- Да что ты! - воскликнул я искренне. - И правда: сочту за честь!

И до сих пор так думаю об этой на всю жизнь одарившей меня его просьбе... До сих пор.

Уж не знаю, честно говоря, что могло в нем Казакова растрогать: рассказ был о том, как еще в Сибири, утонувшей в снегах, в затерянных в тайге деревеньках начал я собирать поддужные колокольцы и самовары, как продолжал заниматься этим уже на юге, и старый мой товарищ, директор школы, который на этот счет меня все подначивал, вдруг расщедрился и подарил мне трехведерного великана из бронзы, не один десяток лет, небось, баловавшего чайком дорожный люд где-нибудь на постоялом дворе... Тут же мы решили его опробовать, ясным ноябрьским днем, которые бывают в кубанских предгорьях особенно хороши, большой компанией, с женами и ребятей, выехали за станицу. Водички для чайка решили набрать в известном на всю округу ближнем родничке, мальчишки переставили самовар в «газик» председателя колхоза, и тот посадил за руль двенадцатилетнего сына: ничего-ничего, мол, - парень уже не по таким горам ездил!

Укатившей с самоваром команды не было почти два часа, мы все уже чего только не передумали, а они появились уставшие, изгвазданные, все в мокром: никто им, так вышло, не объяснил, что с самовара надо снять крышку - по очереди заливали его через крошечное, с копеечную монету, отверстие, откуда выходит лишек пара, когда закипит самовар: через паровичок.

Была в рассказе окрашенная в осенние тона грусть по уходящей русской старине, которая вскорости никому не станет нужна... Наверное, было что-то еще, до чего не хочу теперь докапываться: довольно того, что всякое воспоминание о нем вызывает радостную и благодарную память о Юре Казакове. Юрии Павловиче.

Потому-то так горячо и отозвался на неожиданное приглашение из Республиканского музея Адыгеи, потому там только и подумал: как жаль, что нету рядом Юнуса, - ну как жаль!

Небольшими группками стояли в просторном холле музея почетные гости, разомкнутым кружком держалось начальство из Министерства культуры, перед телекамерой кто-то уже давал интервью, но встретивший у входа директор музея Альмир Абрегов, старый знакомец, подвел меня сперва к столу с окруженным фарфоровыми чашками самоваром: отведать чайку с адыгскими сладостями.

Потом начались и короткие, и длинные речи, понял, что тоже придется говорить, и лихорадочно стал соображать, как бы в грязь лицом не ударить... И самовары, увезенные из Майкопа, и посвященный Казакову рассказ - все это, конечно же, хорошо, но где как бы необходимый при этом случае адыгский колорит?

В романе у Юнуса он был.

Чуть не на первых страницах рассказывал о бытовавшей тогда в его ауле игре в «сэмаур»:

«Тебе еще два-три годика, еще и говорить толком не научился, а тебя уже подталкивают к одной из двух стоящих друг напротив друга цепочек:

- Праныч будешь, запомни... иди-иди!

Привезенный, значит, из города русский пряник... ну, что тогда могло быть вкусней?

Каждый назывался какой-нибудь, вроде этой, вкуснятиной, каким-нибудь лакомством, и - начиналось!

- Сэмаур, сэмаур! - кричали из одной цепочки в другую. - С чем чай будешь пить?

- Праныч! - выбирал тебя вдруг очередной, и ты должен был стремительно вырваться из своей цепочки и мчаться в противоположную - к тому, кто выкликнул тебя... а-енасын!

Как крепко мы держали тогда друг друга за руки!

И как ждали друг дружку - если тебя позвали.

- Сэмаур, сэмаур, с чем чай будешь?!

Кого только среди нас не объявлялось...

Ну, смалечку ты и «тыкаром» готов побыть - кусковым сахарком. И, само собой, «шхэнтэжий» - конфеткой-«подушечкой».

В семье у нас это потом в поговорку вошло - один из моих младших братьев, кажется, Юсуф, сказал как-то приехавшему с гостинцами из Краснодара отцу:

- Зачем ты возишь так много этих маленьких «шхэнтэжий»? Привезешь одну в следующий раз? Большую, как у нанэ на кровати?

Как это по-русски? Губа не дура.

У черкесов попроще, но, может, значительней?

У нас: ты не дурной!

Наверное, игра в «сэмаур» и эту цель, как говорится, преследовала: открывать мир. И разве это касалось познаний чисто кондитерских?

- Сэмаур, сэмаур, с чем ты - чай?

- С пэлькау!

С облитыми сахарным сиропом пышными хлебцами...

- Сэмаур, сэмаур!..

- С хьалу!.. С хьалу!

И пыталась разорвать сцепленные руки девочка, назвавшая себя самодельной, из жареной кукурузной муки, халвой...

- Сэмаур, сэмаур!..

- Халау, халау!

Тоже халва, но другая - купленная в городе русская, с таким аппетитным запахом каленого подсолнечника, жареных семечек...

Разве не было в беззаботных этих криках неосознанной надежды на счастливые перемены в скучной и небогатой аульской жизни?»

Тут мне придется опустить сцену нашего с Юнусом чаепития на двенадцатом этаже, на лоджии моей московской квартиры: неожиданно для меня он ввел вдруг ее в роман, и у меня не поднялась рука трогательные строки моего кунака

вычеркнуть... Придется также опустить... или нет, нет?.. Иначе порву «самоварную» стежку, которой насквозь прошит весь роман.

«Бабушка Прын перед сном рассказывала мне, что мой дедушка - прославленный касапыш-мясник, что его знают не только адыги - знают казаки, что бывает он в далеких городах Закубанья, и там тоже его знают.

Порой не хватало одного самовара, приходилось нам с дедушкой второй раз разжигать огонь...

Естественно, откуда им было знать, кому самоваром они обязаны, они о тебе, о Пушкине, не подозревали, милостивый государь, и скорее всего не ведали. Им было хорошо и приятно вот так сидеть и пить чай вприкуску и обсуждать неторопливо свои дела... Где мяса побольше, где оно подешевле, где подороже. Как лучше угодить людям. Как при этом не прогадать. Самому на бобах не остаться.

Им не дано было знать о твоих миротворческих, - так модных нынче на Кавказе! - усилиях, но все ж таки подспудно у них в голове, у каждого, как тоже нынче модно, - в подсознании крутилось что-то подобием эха. Мой дедушка и его закубанские гости догадывались, что какой-то «настоящий русский» придумал этого бронзоволицего с жаровнею в груди, ну и что, придумал так придумал. Вот и слава ему! Они, самоварники, так и сидели за большим, покрытым черным турецким лаком столом, словно раскаленные огромные бородатые угли. А моя хлебосольная бабушка Прын в такие часы возле них вся светилась-крутилась, как новенькое веретено! Давно это было, но все равно отчетливо слышу, как хрустит колотый сахар в зубах у разомлевших от длинных разговоров и горячего чая гостей-мясников...»

Были они, надо сказать, люди необыкновенные, каждый со своею особенкой...

«Считалось, что дедушка Мос тоже иазэ - врач... Бабушка рассказывала ему о болезни кого-то из аульчан, а он расспрашивал о подробностях, просил уточнить, что это за болезнь, иногда сам ходил к больному, чтобы убедиться лично, как говорится, а потом отрубал именно тот, который надо было, кусок от туши «молодого, здорового и сильного быка» и говорил бабушке:

- Отнеси и скажи, что через три дня он поднимется, еще через три ходить начнет, а через десять дней будет бегать - никто не догонит!

И так всегда и бывало, ей!

Иногда дедушка передавал, чтобы за «лекарством» к нему прислали мальчика или пришел бы кто из мужчин... Рассказывая об этом, бабушка чего-то недоговаривала, и только потом покойный брат, старший Аскер, погибший в аварии братик мой дорогой, объяснил мне, что речь шла о семенниках или железах самцов - козлиных, бараньих или бычьих яичках, которые творили чудеса и якобы поднимали больных чуть ли не с того самого стола, на котором на

кладбище обмывали покойников...».

Но не те пошли теперь на Кавказе гуртовщики: бывшие продавцы скота предпочитают торговлю людьми... И не те пошли мясники.

«Две шеренги парней, у которых молоко на губах не обсохло, замерли одна напротив другой:

- С чем чай будешь пить, Заурчик?

- А ты с чем, Ваня, попьешь?

И пьют, пьют...

- С бомбами, с бомбами!

- С минами на растяжках!..

- С лимонками!

- А мне - радиоуправляемое взрывное устройство!

- Мне очереди из «Калашникова» хватит...

- Из крупнокалиберного...

- «Муха» попала! Гранатомет.

И пьют, пьют... Кровью захлебываются.

Мы с тобой, кунак, всегда одинаково понимали... одинаково жалели их всех.

Печально посмеивались: знал бы бедный А. Си.*, что подпольный заводик по переработке нефти в Чечне зовут нынче «самовар»! Но любители обжигающего напитка сидят вокруг таких самоваров не только в Черных горах - в скольких московских кабинетах! Привычка, заведенная еще исстари: москвичи - известные чаевники-водохлебы!»

...Альмир, долго живший перед этим в Абхазии и помогавший ей, насколько знаю, в последней войне, стоял со мной

рядом, и я тихонько сказал ему:

- Ты-то знаешь, само собой, что по всей земле только три русских слова не нуждаются в переводе: самовар, спутник, «Калашников». У меня даже есть крошечный рассказик об этом: «Самовар, спутник Калашникова». И слава Богу, что ты в своем музее устроил выставку самоваров, а не «калашей», которых в Майкопе наверняка куда больше, чем самоваров...

И директор музея, которого давно знаю, чему-то потаенному улыбнулся...

Все речи были по-русски, но тут предупредили, что очередная выступающая плохо пока знает русский язык: в Адыгею, на родину предков, вернулась из Турции только что.

Молодая симпатичная женщина, чуть смущаясь, заговорила по-черкесски, но то и дело различал я такое знакомое: сэмаур... сэмаур...

С нарочитым вниманием слегка наклонился к ней готовившийся переводить один из сотрудников музея, но все ждал, то и дело покивывая, - наверное, готовился пересказать потом сразу.

Как-то уже приходилось писать об этой особенности адыгской речи: мужчины говорят - и будто слышишь булатный скрежет. Недаром в моей казачьей станице, расположенной на месте бывшего аула бесленеев и граничащей с абазинами, о говоре черкесов скажут и сегодня: джергочут.

Но женская речь!

И правда же: щебет птиц.

Ну, может, еще и воркованье, тем более, что все слышалось: сэмаур... сэмаур.

- Она говорит, когда покидали родину махаджиры, пытались взять с собой не самое ценное, - начал тихонько переводить придвинувшийся Альмир. - Брала самое дорогое душе и сердцу... И брали самое необходимое. Многие унесли с собой самовар... И никогда потом не жалели об этом... на чужбине он сделался вдруг не только предметом гордости... Во многом стал определять общественное положение. Турки стали говорить: о, у этого черкеса есть самовар!.. - И старый мой знакомец вдруг съехал с академического тона, простосердечно и даже как бы с некоторым оттенком недоумения спросил:

- Ты представляешь?!

У меня у самого уже пощипывало в глазах: мать-история!.. Каких только поворотов нет на бесконечных твоих дорогах!

- Если черкес приглашал кого-нибудь к себе в дом и ставил самовар, то подчеркивал этим свое уважение к гостю, - вздохнув, продолжал Альмир. - Турки переспрашивали друг дружку: как тебя угощали? Какой был чай? Из самовара?.. Ты его видел?

А меня вновь вернуло к роману моего друга, в котором перепады во времени соседствовали с фантастическими встречами автора с реальными героями прошлого, и появление их нынче в доме писателя-черкеса или в Майкопе на улице было делом обыкновенным, чуть не рутинным...

«В ту лихую годину пеший караван из шестидесяти тысяч - а в нашей республике и ста тысяч нынче не считаешь! - адыгов из гордого племени абадзехов спешно, со скарбом на плечах покинул свои извечные горные ущелья. Помнишь, кунак, как он, урус-стихотворец, горячо их отговаривал?.. Бесполезно!

Посреди почти неслышного шума от быстрой ходьбы раздастся вдруг тяжелый перезвон многочисленных льонх-надочажных цепей, крючков и головок, служивших до этого покинувшим свои сакли для подвешивания котлов над огнем. Завернутые теперь в тряпье, они лежат в основном на разбитых плечах усталых женщин. Может быть, Пушкин тоже старался подсоблять махаджирам? На правом плече у него льонх-надочажные железяки, а левой рукой перехватывал у кого-то пустую колыбельку...».

Но вот, оказывается, с чувством исполненного долга, что называется, Александр Сергеевич мог бы нести и любимый свой самовар... а-енасын!

Как часто говорит в своих текстах мой друг Юнус.

Само по себе восклицание это не имеет собственной смысловой нагрузки, интонация его зависит от сути того, что перед этим было рассказано...

Так что пусть каждый сам для себя определит, как он это «а-енасын» произнесет.

Бохуапще, дорогие мои!

Пусть множится ваша отара!

Если, конечно, она у вас есть...

«Во глубине сибирских руд...»

Так вышло, что на недельку-другую книжечка эта, «Я вас любил...», опять задержалась в моей сумке...

В Звенигороде сразу доставал ее, не то что с удовольствием - прямо-таки с жадностью принимался перечитывать, а через пару остановок, в Захарове, где восстановили, наконец, дом Ганнибалов и снова открыли в нем музей Пушкина, с интересом глядел на торопливо входящих в вагон, искал глазами старого знакомого Володю Семенова, так и живущего в Захарове потомка Арины Родионовны, у которого купили мы нашу избу в Кобякове... Он уже не раз подсаживался в Захарове, дальше ехали вместе, и я теперь заранее улыбался: расскажу об этой книжке Володе, и наверняка он тоже порадуетя.

Не исключено, что в вагон могла вдруг войти всем видом своим боярским будто подчеркивающая, что достойна иной доли, но милостиво снизошла до общенародного транспорта, Наталья Бондарчук, затеявшая многосерийный фильм о Пушкине и специально, рассказывали, - дабы здешним воздушком дышать каждый день - поселившаяся теперь в Захарове... А может, вошел бы и сам Александр Сергеевич?

В дорожной крылатке поверх шубейки, в неизменном английском цилиндре и, конечно же, с тросточкой...

Тут дело не простое: пару эту - Наталью Сергеевну, продолжившую в кино отцовское режиссерское дело, и одетого «под Пушкина», самую малость подгримированного молодого актера, - впервые увидел несколько лет назад в Иркутске, куда Валентин Григорьевич Распутин пригласил нас, десятка полтора москвичей, на ежегодный фестиваль «Сияние России». Вместе были на встрече с иркутянами в театре, потом двумя-тремя словами и с нею, и с ним перекинулись в одном из музеев - в прочном до сих пор, из вечной лиственницы, старинном особняке Волконских, надежно хранящем не только хрестоматийное знание о перестройщиках-«декабристах»... Хранит он сегодня, по-моему, самое для России главное: ставшую народной легендой историю о золотом колечке, молодой княгиней Марией Николаевной, мчавшейся вслед за мужем в ссылку, отданном ямщику, чтобы не медлил, вез ее побыстрее, а вместе с этой, казалось бы, не такой уж значительной историей хранит всеобщее наше спасительное уважение к русской женщине, которое так и не смогли нынче замарать ни заграничная грязь респектабельных борделей, ни беспросветное хамство дома...

Конечно же, для первого раза кажется любопытным - увидеть «живого Пушкина» в мало что замечающей уличной толпе или во внимательном благородном собрании: надо же молодому таланту вживаться в образ?.. Вот и не выходит месяцами из образа, дело такое. Выйди - а вдруг потом снова в него да не войдешь?

Года три либо четыре спустя ясным июньским днем неожиданно столкнулся с «Пушкиным» в родных его северных местах, под Псковом - в селе Петровском, неподалеку от Михайловского, где с минуты на минуту должны были открыть отреставрированный дом Ганнибалов, тот самый, слегка уменьшенная копия которого была в свое время построена предками Александра Сергеевича по материнской линии в подмосковном Захарове... Открытие предполагалось торжественное, вокруг московских гостей, среди кого были и видные чиновники Министерства культуры с известными

актерами да литераторами, вокруг псковского областного да местного руководства народ празднично копился перед воротами усадьбы, а за ними, чуть в сторонке от центрального въезда, на дорожке между ухоженных клумб стоял одинокий Поэт в дорожной крылатке и в цилиндре: тоже только приехал в свои края, еще не успел и переодеться...

Я потихоньку пробрался через боковую калитку, чтобы так и снять его, пока одного, и когда напомнил ему о встрече в Иркутске, он явно обрадовался: может, был не в своей тарелке и воспоминание о сибирской поездке хоть слегка его да согрело...

Но к чему я обо всем этом говорю?

А к тому, что есть некий достаточно четко определившийся круг причастных, так скажем, к «пушкинской теме», и есть давно устоявшийся ряд - или, если хотите, колонна - почти неизменных, где бы они ни проходили, участников каких-либо мероприятий или торжеств, посвященных Пушкину... Изредка меняется лишь обрамление того и другого, благодаря чему и попал в Петровское ваш покорный слуга, - ядро же и там, и там остается монолитным, да вроде бы оно и понятно: можно ли «наше все» доверить жалким любителям?.. Профессионалы же, само собой, во время этих высокоторжественных действий еще больше проникаются так необходимым для них животворящим духом, подпитываются им, а заодно в порядке вещей слегка и подкармливаются, что ж тут...

А простенькая, в бумажной обложке книжечка, с которой я начал, издана в Сибири, в далеком Новокузнецке, «благодаря помощи и поддержке администрации г. Мыски».

Много ли слышали вы о Мысках?

Город это, между тем, знаменитый, известный на юге Кузбасса как столица шорцев, кузнецких татар. Стоит он на слиянии большой Томи и речки куда поменьше, хотя и с норовом, - Усы. Во времена моей молодости, в начале шестидесятых, когда мощную Томь-Усинскую ГРЭС уже успели пустить и «передним краем», как тогда модно было говорить, сделался наш Запсиб - ударная стройка Западно-Сибирского металлургического завода, оживший возле «Томусов» рабочий поселок снова как бы впал в спячку... Записные остряки любили рассказывать простодушную байку о том, как в тридцать седьмом году делегация местных жителей из охотников да шишкарей - добытчиков кедровых орешков - поехала в Москву, к товарищу Сталину, с доверчивой просьбой создать отдельную Горно-Шорскую Республику: «Внима-а-ательно выслушал товарищ Сталин Торгунакова с Шерегешевым!.. Однако, будем решать, сказал. А вы пока оставайтесь в Москве. Обоих тридцать лет нету - до сих пор там, однако, ждут решения!»

Но что поделаешь, городок Мыски в это якобы свято верит, потому что живут в нем по своему особому, мысковскому времени.

Как иначе можно истолковать, что уже в наше «перестроечное» время здесь открыли памятник проводившему в этих

местах знаменитые свои «зачистки» Аркадию Гайдару-Голикову, и на его открытие прилетал сюда сынок-соколик Тимур... Ну, чем, скажите, как не глухой тоской посреди бескрайней тайги достопримечательный факт этот можно объяснить?!

Само собой, что вековечное спокойствие Мысков не мог поколебать и мой приезд сюда в качестве кандидата в Государственную Думу... Ну, имел в моей биографии место, имел такой факт: в столице люди добрые, и такие пока тут есть, как лечь на амбразуру - предложили мне прикрыть пустующее у них место в одномандатном списке, и я - хотите, как возвращенный комсомольскою стройкой авантюрист с большим стажем, хотите - как чуть ли не штатный участник всеобщей игры под известным названием «Хочу все знать», а хотите - как человек, готовый в края сибирской молодости пешком отправиться, а не то что за счет партии-однодневки, на шермачка - на белоснежном авиалайнере, - так вот я, так или иначе, согласился, тем более что никаких золотых гор избирателям обещать мне было не надо, я прямо и говорил: приехал, мол, повстречаться с земляками, своими глазами увидеть, как они тут живут, своими ушами услышать, что знаменитого на всю страну губернатора своего зовут они не иначе, как Туленин и в соответствии с этим чтут.

И вот в гостеприимном доме у старого друга Николая Никифоровича Конищева и милой его половины, умелицы Нины Васильевны, уже поели мы настоящих - «из трех мяс» и «с щепочкой» от деревянного корытца, в котором эти «три мяса» секли топором - пельменей, а потом отправились в Дом культуры Томь-Усинской ГРЭС, где предстояло в роли кандидата мне выступить... Конечно, если бы в объявлении тоже пельмени «из трех мяс» пообещать, может, и заявила бы хоть половина того количества народу, который сидел за щедрым столом у Николая Никифоровича, но вот насчет пельмешек там как раз ничего не говорилось, и пришли всего трое.

Две женщины средних лет набросились на меня с такой энергией, словно перед ними неожиданно возникла последняя надежда хоть что-то завалившее, уже престижа ради, «прихватизировать», и как знать, не постигла бы меня печальная участь гигантов социалистической индустрии, если бы не было со мной рядом боевой подруги - жены, с которой мы как раз на ударном объекте, на нашем Запсибе, встретились и с опережением графика поженились.

Третьим моим доброжелателем был скромно одетый, но с галстучком на белой рубашке, невысоконького росточка мужчина, примерно ровесник, который терпеливо стоял в сторонке от споривших женщин, то с интересом поглядывая на меня, то не очень дружелюбно - на собственные часы на руке.

Наконец он не выдержал, из внутреннего кармана плаща вынул книжицу, подошел ко мне, отдал и потянулся пожать руку.

Я что-то такое маловразумительное промямлил - мол, кто он, откуда, что за книга? - но он только с улыбкой, мягко сказал:

- Там все написано.

Еще раз крепко сжал мне ладонь и пошел к выходу.

Тут же снова подступили ко мне с бесконечными «почему» энергичные «мысквички» - книжечку «Я вас любил...» с профилем Пушкина на мягкой обложке открыл я лишь пару часов спустя, а читать взялся спустя пару лет...

Прости меня, дорогой Геннадий Максимович!

Прости, Гена!..

«...от Геннадия Неунывахина, - написано на титульном листе после моих имени и фамилии. - Записб. 1961-62 годы. «Металлургстрой» и многое другое. Есть что вспомнить. С искренним уважением - автор этой книги. 28.11.99».

В те годы я как раз работал в «Металлургстрое», в начале шестидесятых. Редактором.

Он был наверняка из тех без году неделя бетонщиков или монтажников, кто приходил к нам в редакцию с крошечными заметульками либо просто так: посидеть на диване, поболтать, послушать, что «пресса» говорит не только на страницах «органа парткома, стройкома и администрации» стройки. Глотнуть свежего воздуха.

А доказательством того, что был он, и действительно, свежим, как раз и является его книжица.

«В литературе о жизни и творчестве великого русского поэта А. С. Пушкина, кажется, нет недостатка. Однако внимание и любовь к нему не снижаются с годами, особенно в дни приближающегося юбилея - 200-летия со дня рождения.

Книга Г. М. Неунывахина, учителя литературы по профессии и пушкиниста-исследователя по призванию, «Я вас любил...» вносит свой штрих, дополнение в этот огромный список книг о Пушкине.

Книга может быть рекомендована в качестве дополнительного материала для учителя-словесника при изучении жизни и творчества А. С. Пушкина в школе, а также для учащихся старших классов и студентов гуманитарных вузов.

Издание 2-е, исправленное и дополненное».

В книжечке две работы: собственно «Я вас любил...» с подзаголовком - «Любовь и женщины в жизни и творчестве А. С. Пушкина». И - «Божественная лира. Мир античных образов и героев в творчестве А. С. Пушкина». В конце помещен

пространный «Словарь античных терминов, имен и образов», встречающихся в произведениях Александра Сергеевича.

И до чего же славно написано все, до чего профессионально, умно и любовно сделано!

Расхожая, кажется, тема - о пушкинском «донжуанстве». Но говорится об этом так естественно, так просто, так деликатно и так бережно, что диву даешься: откуда это высокое умение?

Источником его могут быть лишь чистая душа и золотое сердце.

Подобно опытному мастеру-реставратору, преподаватель литературы из сибирской глубинки с удивительным пониманием освобождает сиятельный для русского человека образ от той невольной грязи, без которой не обошлось у многих столичных исследователей, не говоря уже о знатоках анекдотов о Пушкине и любителях запанибратских «прогулок» рядом с его великой тенью...

Профессионала не так просто удивить хорошим стилем, но всякий раз, открыв книжечку Геннадия Максимовича, я прямо-таки наслаждался истинно русским языком, радовался очень верно взятому тону и обширным познаниям, которыми сибиряк сжато и к месту пользовался: будто походя, но всякий раз - в точку... Наверное, он был очень хорошим учителем: повествование о том, что, казалось бы, давно знал, читал я увлеченно и, как мальчишка, доверчиво.

Как просто, как точно, с какой внутренней поэзией в прозаической строке пишет Неунывахин об отношениях Пушкина с Анной Керн: «Любовь прошла, но заметим ради справедливости: Пушкин сделал случайно встретившейся женщине то, что сделать никому не под силу. Он подарил ей бессмертие. Подарил с легкостью, как дарят цветы... Шелуха и мелочи этой истории унесены ветром времени. Их больше не существует. Есть великая история двух сердец: продолжалась «чудесное мгновенье», а обернулась вечностью».

А вот о Наталье Николаевне: «Мать четырех детей поэта, она давала ему то высокое и вместе с тем то простое, доброе человеческое счастье, в котором он так нуждался, нуждался именно в годы жизни с ней, в 30-е годы, когда своей мыслью и творчеством ушел далеко вперед, а там он был одинок».

Невольно думаешь, что написано это тоже человеком достаточно одиноким, и думаешь о том, что они всегда одиноки - мудрецы...

Кем же он тогда на стройке работал? Долго ли?.. Вообще - кто он, в каких родился краях, что потом закончил, почему занялся творчеством Пушкина?

И что, выходит, еще тогда, на нашей - ну, хоть не произноси теперь этих слов! - ударной стройке, уже горела в нем мало кому заметная та самая искорка, из которой потом «разгорелось пламя» уважительной любви к нашему гению и

удивительно тонкого понимания его?

А мы все о нашем недавнем рабстве... далось оно нам!

Или пытались дать треклятые наши доброхоты?

Пытались всучить... себе оставьте!

А мы уж как-нибудь без него.

Не преувеличиваю, правда - простенько изданная книжица Неунывахина так умна и сердечна, что я, посмеиваясь, иной раз говорил себе: ну вот, а ты еще сомневался - ехать тебе в родной Кузбасс кандидатом в «нижний парламент» или не ехать? Не поехал - и так бы не узнал, что посреди всеобщего, как и по всей России, торжища, откровенного воровства и бесстыжего обмана не только народный «скорбный труд» жив - по-прежнему, несмотря ни на что, живо и «гордое терпенье», и «дум высокое стремленье» тоже сибиряков не оставило...

Иногда размышлял: сказал ли хоть кто-нибудь Геннадию Неунывахину за его книжку о Пушкине признательные слова?.. Как знать: а вдруг у администрации Мысков, помогшей ему издать ее, достало державной зрелости хотя бы исхлопотать для школьного учителя литературы юбилейную «Пушкинскую медаль»... Или, как многие из бессребреников, утешился он крошечной рублевой монеткой с профилем Александра Сергеича, случайно доставшейся на сдачу в каких-либо недавних «Промтоварах», ставших теперь «Триумфом» либо «Викторией»?

«Мы вглядываемся в жизнь Пушкина, стараемся понять его и научиться у него умению любить, сопереживать и бороться, отстаивая свою честь и достоинство». Так заканчивается великолепное эссе «Я вас любил...» сибирского учителя-словесника Геннадия Максимовича Неунывахина...

И невольно думаешь, что есть смысл часы свои сверять с «мысковским» временем, - есть!

Рука Пушкина,

или Второе дыхание Эдуарда Овчаренко

Когда-то великий француз Оноре де Бальзак сказал, что гении рождаются в провинции и умирают в столице. Не потому ли и нынче всякий, кто хоть бочком притерся к миру служителей искусства, при переезде в столицу заранее начинает ощущать себя гением? Что ни говори, уже приобрел входной билет на участие в лотерее, которую сама госпожа Судьба разыгрывает... А на что остается надеяться так и оставшимся жить в тихой провинции?

...Теперь уже больше тридцати лет назад в уютный, теплый в любое время года Майкоп мы переехали из грохочущего металлом, черного от копоти и от угольной пыли холодного Новокузнецка, но долго еще душа моя оставалась в далеких, где молодость прошла, сибирских краях: ездил, бывало, зимою на вокзал соседнего Белореченска, чтобы потрогать почти истаявший, но все еще, казалось мне, припахивающий коксовым дымком нашей «Кузни» снег на сцепках вагонов идущего в Адлер поезда... В благословенной, какой знаю ее уже нынче, Адыгее чувствовал тогда себя одиноко, сам того не сознавая, искал общения - потому-то и обратился однажды зимой к разглядывающему витрину продуктового магазина на Краснооктябрьской незнакомому человеку, шутливо спросил: сквозь двойное стекло, мол, пытаетесь разглядеть, какую колбасу нынче в продажу «выбросили»?

Как искренне, как беззаботно-громко он рассмеялся! Словно извиняясь потом за этот, который можно было принять на мой счет, смех, добродушно взялся втолковывать, что он - художник, пишет как раз картину, на которой женщина задумчиво стоит у покрытого морозным узором окна, а где в этом райском уголке найдешь такое окно? Каждый вечер слушает с надеждой сводку погоды, раным-рано выскакивает на улицу, чтобы обежать и домики с крошечными окнами на окраине, и большие витрины в центре, но вот он, вот - всего лишь маленький уголок с намеком на морозный узор...

Как-то сразу мы подружились, но память о нашей встрече у витрины гастронома в центре Майкопа все не давала мне покоя - вскоре я написал маленький рассказ «Иней на стекле», который ему, Эдику, художнику Эдуарду Овчаренко, и посвятил и который посчитал потом нужным включить в томик вышедшего уже спустя полтора десятка лет своего «Избранного».

«...так хорошо мне было постоянно возвращаться к мысли о том, - заканчивался этот рассказ, - что есть в этом крошечном городке, есть человек, который приподнимался перед витриной гастронома на цыпочки вовсе не за тем, чтобы посмотреть, большая ли очередь да какую сегодня продают колбасу».

Разве это, и в самом деле, не важно было в ту, которую многие почем зря клянут теперь, пору?

Разве не важнее того стало сегодня?

Оглядываясь на непросто прожитые всеми нами, всею нашей страной годы, с чувством благодарности старому товарищу «За Веру и Верность», как раньше в России значилось на высших государственных орденах, вижу и нынче, как он, словно забытый жестоким временем часовой, стоит все на том же, который нам никак нельзя оставлять, посту: не при возведенной «демократами» в символ «общечеловеческих ценностей» колбасе - при полусказочном морозном узорочье...

Другое дело - чего ему это стоит.

Уроженец Анастасиевской, в грозном сорок втором оказавшейся под эпицентром самых напряженных по накалу

воздушных боев, мальчишкой он несколько тоскливых месяцев наблюдал, как один за другим падают наши «ястребки», сбиваемые германскими асами, с замиранием сердца замечал, как упорно увеличивается время ежедневных поединков над станицей, и вместе с такими же, как сам, голодными огольцами с восторгом увидел потом, наконец, долгожданную картину: как врезался в землю подожженный нашим пилотом «немец» с черным крестом - то было начало перелома на знаменитой «Голубой линии».

О символах собственного детства задумается он куда позже, а сперва был послевоенный неустроенный быт, когда почти все мы, мальчишки того поколения, в школе на уроках и дома самодельными чернилами из бузины учились писать на пробелах меж газетных строк... А ему вздумалось рисовать.

Закончил художественное училище в Краснодаре, куда на собственные деньги после восьмого класса отвезла верившая в него учительница... Святое время, как вспомнишь теперь, и правда, - святое!

Потом были три полноценных армейских года, когда, с отсидкой на «губе», отказавшись от непьющей службишки оформителя клуба с его главной заботой - красиво писать лозунги, стал техником по вооружению, готовил к полетам тяжелые бомбардировщики. После армии мечтал продолжить учебу и первый шаг для этого уже сделал - в художественной академии в Ленинграде обратил на себя внимание мастерством рисовальщика, но ходить по инстанциям и бить в гимнастерку со значками отличника боевой и политической подготовки на груди не пожелал: опоздал нынче - приедет на следующий год.

Но приехать он так больше и не смог.

Размышляя над поворотами судьбы своего товарища уже из сегодняшнего дня, вдруг начинаешь понимать, что именно это сделало его таким, каков он есть: неумная жажда учебы не только начисто лишила его свойственного иным, кто считает вузовский свой диплом за жар-птицу в клетке, самодовольства - раз и навсегда определила его в самую серьезную высшую школу: школу постоянного, неутомимого самообразования. Завзятый книголюб, он собрал у себя обширную, с множеством уникальных изданий библиотеку, и от доказательств того, что вся она им прочитана, другой раз приходится полушутливо отказываться: мол, сколько можно, Эдуард Никифорович, ученый разговор вести - хватит-хватит, последний ты наш энциклопедист!

Пошучиваю, но что правда, то правда: более глубокого собеседника и проницательного критика не знаю не только в южных наших краях, но и куда посевней. Выступления его на культурных, где приходилось бывать, мероприятиях всегда отличала самая высокая интеллектуальная планка, и в небольшом, но зато щедро ищущими, подчас тоскующими, сокровенно талантливыми людьми, каким знаю Майкоп, городе художник Овчаренко стал, если разобраться, такую же достопримечательностью, как знакомый мне еще по старому университетскому общежитию на знаменитой Стромынке в Москве с чуть сгорбленной, невысокой фигурой, и старым, еще с послевоенных времен, ручным протезом философ Шапиро, предшественник нынешних молодых, а то и в самой поре, талантливых ученых-

гуманитариев, выросших уже здесь - в столице Адыгеи...

Размышляя над его творчеством именно теперь, когда - исходя из роли «выдвиженца» на престижную премию - это и положено делать со всей серьезностью, начинаешь понимать, что судьба этого художника давно неотделима от судьбы города и судьбы республики.

По сути Овчаренко был одним из самых первых в Майкопе профессиональных мастеров живописи, и та самая жажда учебы, которая его никогда не оставляла, вольно или невольно сделала его собирателем Союза художников Адыгеи.

Вышло так, что в гостеприимной его мастерской я провел немало часов, когда жил в Майкопе, постоянно навещал ее потом, когда переехал в Москву, в дни отпусков либо командировок на юг.

И в ком только Овчаренко не принимал участия! Помню, на свои трудовые на три дня поселил в гостинице только что прибывших из Москвы выпускников института имени Сурикова, а после привел и к тому, и к другому в мастерскую - то были Виктор Баркин и Геннадий Ключин. Ему я обязан дружбой с Борисом Воронкиным - какие бы, кстати, должности ни занимал потом Борис в Союзе художников, всегда чуть шутливо, но уважительно звал Овчаренко Шефом, и обязан самыми добрыми и уважительными отношениями с Геннадием Назаренко, Мухарбием Гогуноковым, Альфредом Винсом, Абдуллахом Берсировым, Теучежем Катом, многими другими, кто вошел в обойму лучших мастеров Адыгеи. Это Овчаренко еще в семьдесят шестом познакомил меня с Феликсом Петувашем, предварив знакомство значительным шепотком: «Еще раз прошу тебя: будь внимателен к этому пареньку - потрясающе талантлив!»

С легкой руки Овчаренко журнал «Смена», где я тогда заведовал отделом литературы и искусства, впервые поместил на обложке несколько графических работ Феликса, гравюры его навсегда заняли почетное место в моей домашней коллекции, и, отвечая на удивленные вопросы гостей, с удовольствием опытного экскурсовода начинаю нынче втолковывать, что Петуваш - не только один из самых замечательных мастеров юга России, пожалуй, лучший на сегодня график исламского мира, а знакомых кабардинцев нет-нет да начинаю в разговорах о северокавказских художниках подначивать: чем белого коня дарить этому вашему живущему в Штатах мистификатору Шамякину-Карданову, вы, братцы, купили бы лучше нашему Феликсу охотничью собаку: и не так накладно для бюджета, и - куда справедливей.

В силу непростого, но искреннего характера «перестройка» стала для Овчаренко личной трагедией: бывший председатель Адыгейского оргбюро Краснодарского отделения Союза художников, а после - глава Союза художников Адыгеи, он пытался уберечь от передела сообща нажитое Худфондом имущество, но лишь заработал нелестную репутацию: ведет, мол, себя как собака на сене, у которого давно нет хозяина...

Размолвки с коллегами на этой почве подтолкнули к ревизии собственного творчества вообще. Как будто не было перед этим ни самобытного стиля, ни найденного им в лучших картинах «своего» - голубого с розовым - колорита. Не было успеха на зональных выставках, не было участия с высоко оцененными портретами в столичных, не было поощрительных творческих поездок за рубеж: в Болгарию и Швейцарию. Несколько долгих лет на Овчаренко было

больно смотреть. Казалось, вся его неиссякаемая раньше энергия ушла на одинокое строительство причудливого домика в дачном товариществе «Авиатор»... О, это товарищество!

Невольно вспоминается оживление, царившее раньше в майкопском аэропорту, вспоминаются десятки рядком стоящих зеленых и голубовато-серых «кукурузников» - Анов, на которые глядишь через иллюминатор, когда такой же самолетик поднимает тебя над землей. Каких только не начиналось отсюда путей, куда только майкопчане тогда не улетали... А всесоюзная слава майкопского аэроклуба?!

Но вот словно все это в одночасье разбилось, рассыпалось в прах. Глянешь с горы на раскинувшийся внизу «Авиатор» - здесь и там отставными умельцами приспособленные для душа либо для полива садика-огородика авиационные емкости, вынутые из туалетов «аннушек» умывальные бачки, разнокалиберные отсеки фюзеляжей и почему-то торчащий из земли хвост «кукурузника»... Кладбище машин почти исчезнувшей теперь с лица земли, окончательно растворившейся в нашем небе «малой авиации»?

Для меня «Авиатор» на какое-то время стал кладбищем высоких стремлений и несбывшихся надежд моего друга, детство которого прошло среди останков сбитых над станицей машин...

...Однажды он сбросил с обширного холста покрывало, и я надолго смолк, не зная, что сказать ему... Расспросить? Или, может быть, начать с шутки: мол, тонкий мастер полувоздушной «обнаженки», хочешь удивить нас теперь этим коричневым, этим громадным, этим голым, с бугром напряженной спины, мужиком?

Каких только на этот счет догадок не строили: «Разве непонятно, что это - Сизиф? Вон гора перед ним, а под ногами - только что слетевший с вершины камень... Опять придется катить вверх». «А что там за рыжие холмы и над ними вдали - синий свет?» «Хоть крест он не написал, но это, надо полагать, - крестная ноша...» «Да брось, брось, - просто это память о том, как на строительстве дачки упирался!» «Зря вы. И не крест он несет, а - холст. Он холст не может оторвать от земли». «Он собственными руками прикован к холсту - сгорбился, уже не взлетит, не воспарит...».

Все-таки он взлетел.

...С Юнусом Чуяко мы работали над переводом его новой вещи «Милосердие Черных гор, или Смерть за Черной речкой» - Юнус обозначит ее потом как роман-гыбзе, роман-плач. Один из главных героев этого многослойного, многопланового романа - Поэт. Александр Пушкин. Само собой, что в воображении у всякого он - свой, особенный, но за время совместной работы образ Поэта во многом сделался для нас в каких-то черточках общим, и мы невольно переглянулись, когда Овчаренко, пригласивший нас к себе в мастерскую, поставил на станок средних размеров полотно: «А это вам, братцы, - мой Пушкин. С Натальей Николаевной... с Музой, если хотите. Еще не закончил, показываю вам первым...».

Они касались друг дружки спинами, образуя некое двуединство: в голубоватом воздушном одеянии с глубоким вырезом романтическое создание с чудной головкой, повернутой в глубь холста, и прилепившийся к ней, глядящий в противоположную сторону Поэт: над плечом в темном сюртуке - слегка запрокинутое лицо с профилем, нарочито, как сразу показалось, приближенным к авторским шаржам самого Пушкина: по ним так и не поймешь, где кончается насмешка над собой и начинается боль. Под скрытым в белом воротничке подбородком - выброшенные возле груди тонкие пальцы... Может, они-то больше всего остального и создавали впечатление нарочитой манерности?

Но ведь Пушкин-то - само естество!

Упоенные собственным видением Поэта, не только рыцаря свободы - чуть не джигита, мы с кунаком не проявили тогда ни жалости, ни сочувствия, и больше всего досталось этой непонятно о чем вопрошающей руке: «наш» с Юнусом, как бы уже «черкесский» Пушкин одинаково твердо держал в руке и перо, и трость, и пистолет... а эта - что?!

- Не принимаете такого Пушкина... а сколько мучаюсь! - с непривычной открытостью, беззащитно проговорил мой товарищ. - Перечитал все, что только нашлось в Майкопе... Юнус знает. Может, поищешь книжки в Москве?.. Что-то, что еще не было известно. Еще не издавалось, а теперь... в юбилейный год вышло много. Может быть, альбомы, проспекты выставок - поищешь?

Ворошил новинки в столичных магазинах и на уличных книжных развалах, невольно заглядывая и в те, куда давно не заглядывал... Сколько же в Белокаменной издано нынче всякого дерьма, в котором единственно ценное - высокого качества бумага!.. К великой скорби, относится это и к публикациям о нашем Поэте. Но были и удивительно глубокие книги о нем, были!

И с какой радостью увидел я картину своего товарища!

Уже другую картину.

В этом, пожалуй, и есть суть настоящего искусства, очарование его, его волшебство: еще не всмотревшись в тонкости, по яркому и теплomu, зовущему к себе колориту, по изяществу линий, по удивительной пластике - уже не глазами, а как бы сердцем вдруг ощущаешь, что если это не классика, то приближение к ней - уверенное, мощное, настолько неподдельно естественное, что ты вдруг невольно спрашиваешь себя: откуда это богатство в давно знакомой тебе мастерской, откуда этот якобы неожиданный дар ее хозяину... или это уже его дар - всем нам?!

Теперь они разъединены: сидящая Наталья Николаевна, в каждом легком изгибе которой, в беспомощно повисшей руке, в повороте головы, ткнувшейся в ладонь другой, видишь неизбежное страдание, и Александр Сергеевич - может, бегущий по земле, а может быть, легко летящий уже в запредельных даях, где величавое вдохновение наконец-то обретает желанный покой... «На свете счастья нет, а есть покой и воля» - это хочет повторить вслед за Поэтом

изобразивший его художник?

Кажется, в картине есть все: и встреча, и расставание, и перемена судеб. Над золотистой нишей, которую можно трактовать и как авансцену, где на виду у всех проходит жизнь знаменитостей, и как неожиданно открывшееся почти интимное внутреннее пространство кареты, - уходящие друг от друга коляска Натальи Николаевны, по близорукости своей не увидавшей едущего к месту дуэли мужа, и возок Данзаса с Пушкиным, глядящим в сторону, на Неву... конечно, помните: «Не в крепость ли ты везешь меня?..»

С тех пор как разминулись они, пройдет четырнадцать лет, и Наталья Николаевна, давно ставшая Пушкиной-Ланской, напишет хорошо понимавшему ее новому мужу из Германии: «В глубине души такая печаль... Ничто не может меня развлечь, ни путешествие, ни новые места. Я ношу в себе постоянное беспокойство...»

«В глубине души такая печаль» - так и называется картина Эдуарда Овчаренко, название это можно прочесть на ленте поверх золотистой ниши, по бокам от разминувшихся кареты и возка... Надпись на траурном венке? Реквием поэту?

Картина-плач, если хотите, как у Чюяко - его роман?

Или - торжество жизни?.. «Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире мой прах переживет...»

От одной новой картины к другой неспешно ходил потом по мастерской, словно преобразившейся от свежести и яркости красок, с радостным изумлением глядел на пейзаж, который мог написать лишь человек с молодой и щедрой душой, смотрел натюрморт, которого, показалось, не могло быть у Овчаренко раньше, пытался угадать смысл жанровых картин: полуфантастических, причудливых, но полнокровных от переполнявших их земных слов... Покачивал головой, что-то восторженное взмывал, и Борис Воронкин, которого застал у Овчаренко, сказал дружелюбно и чуть насмешливо:

- Вот-вот. Также и высокие гости из Союза художников, которые перед тобой тут у Шефа побывали: откуда, мол, это чудо - в провинции? Чуть ли не во всех жанрах сразу... портрет Шипитько тоже видел?

Стоял напротив подчеркнуто реалистического, но именно потому-то глубоко выразительного портрета Анатолия Шипитько, руководителя ансамбля «Русская удаль», давно и прочно ставшего славянской составляющей не только в разноликой культуре Адыгеи с главной ее черкесской становой жилой, но все уверенней звучащего на всем многонациональном просторе России... Не зря, пожалуй, обратился Овчаренко к образу этого современного подвижника - разве сегодня они, и в самом деле, исчезли в разлитом море чужого авангарда и псевдоотечественной «попсы»?

Молча покачивал головой, умиротворенно радуясь успехам давнего своего товарища, - и действительно самоотверженным трудом подтвердившего расхожую поговорку о «втором дыхании»: вот оно!.. Покачивал головой, а

сам невольно поглядывал на главную, на «пушкинскую» картину -не отпускала.

При всей свободе и воле воображения - какая выверенность линий, какая выразительная точность всякого жеста!

- Руки Натальи Николаевны - еще ладно, - будто сам с собою заговорил. - Беспомощность женщины, к которой многое приходит задним числом... Но его руки так изобразить! Особенно - правая... рука творца...

- По-моему, эта рука и оторвала меня от пола и хоть немного приподняла, - в обычной своей манере, ворчливо, еще не дослушав, остановил размышления мой друг.

Понимает ли сам до конца, сколь многое ему теперь удалось?

Не преувеличиваю: ведь в многолетних размышлениях о грандиозных наших планах и малых делах родился не только крошечный мой рассказик «Иней на стекле» - был потом большой рассказ «Приключения скелета в Майкопе», в котором я вволю поиздевался над Эдиком, над собой, над обитателями соседних с овчаренковской мастерских... Вообще-то странное дело, странное! В мастерских этих провел куда больше времени, чем где бы то в здешних краях ни было, давно сделались чуть ли не родными, а правда! Только теперь вот со всею определенностью и понял, как тут здешние художники все вместе потихоньку растили меня: и незаметно влияли, и втолковывали свое, и потихоньку, когда надо, подбадривали и подпитывали - не только в смысле питания, нет...

А что же наша Белокаменная? Как мы еще недавно говаривали: «столица всего передового и прогрессивного»?

Пусть в ней каждому, кто этого заслужил, поможет Господь с претворением самых амбициозных планов!

Но главное в России происходит нынче не там, а в якобы тихой, но все больше осознающей свою ответственность за состояние духа, за нравственное здоровье страны провинции.

(Окончание в следующем номере)



► *Загружено: Среда 23 Апрель 2014 - 10:26:19*

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ № 2(19)

[Share on facebook](#) [Share on vk](#) [Share on twitter](#) [Share on odnoklassniki_ru](#) [Share on livejournal](#) [More Sharing Services 0](#)

Немченко Гарий

ВОЛЬНЫЙ ГОРЕЦ (окончание)

«Здорово, ребята!..», или Мужик из Захарова

В Майкопе, нагруженный размышлениями о «Милосердии...» Юнуса, нет-нет да отводил душу за чтением пушкинских стихов, а заодно, тогда еще неосознанно, их вольным духом подпитывался...

Открыл однажды «Руслана и Людмилу» и не мог оторваться, пока не дочитал до конца. Наслаждался и простонародным словом, и вроде полусутопливой, а на самом-то деле сокровенной интонацией... Может, сокровенное наше и в самом деле часто говорится на полусутолке?.. Оставляющей загадочный простор и для серьезного поучения, и для грустного раздумья.

Невольно вспомнил университетские штудии о мужике, который в лаптях и армяке вошел в благородное собрание, стал листать странички комментариев. Прежде всего нашел упоминание о «самой резкой из критик того времени - отзыв «Жителя Бутырской слободы» и, улыбнувшись, подумал, что я ведь прямо-таки один в один из тех мест: со своею московской квартирой на улице Бутырской, 15.

Вернулся к чему-то насторожившему в только что прочитанных строчках... и хорошо, что вернулся, вот оно: «Для второго издания поэмы, вышедшего в 1828 г., Пушкин переработал в значительной степени отдельные ее места; добавил замечательное стихотворное введение «У лукоморья дуб зеленый...», первые строки которого представляют собой переложение одной из сказок, рассказанных поэту во время ссылки в Михайловском няней Ариной Родионовной...».

Далось им, не без ревности подумал, это Михайловское!

При всем уважении и к нему, и ко всему тому, что с ним связано, - не через край ли?!

Опять вспомнил, как с Володей Семеновым идем в Захарове по краю березовой рощи, по косогору, который спускается к речке, ставшей теперь в этом месте следующими одно за другим тихими озерцами, и он показывает на полускрытые зеленью дальние домишки впереди.

- Там дворня жила, и прапрабабушка наша тоже... Туда он из барского дома и уносился.

Маленький, значит, Пушкин. К Арине Родионовне.

- А вон то самое Лукоморье, да!..

Я сперва не понял:

- Какое? Где?

- Как это - какое? - удивился Володя. - То самое... во-он: ма-аленький такой мысок на той стороне. Теперь-то почти и не заметишь.

Пытался взглянуть в ничем не примечательный противоположный берег, поросший жидким леском.

- И ты хочешь сказать, что это - то самое Лукоморье, где «дуб зеленый»... «златая цепь»...

- Да почему - я? - посмеивался Володя. - Это она ему говорила... дуб-то там и в самом деле стоял. Мальчишками еще застали догнивающий корень...

- А ты не придумал? - спрашивал я с сомнением. - Уж больно все вокруг непохоже! - повел рукой как бы вдаль и вверх, нарочито значительным, как у декламатора с хорошеньким стажем, голосом подчеркнул: - У-у Лу-уко-о-мо-о-орья!..

- А что ей оставалось, Леонтьич? - продолжал Володя посмеиваться. - Он же был не пай-мальчик... как-то отвлечь от озорства, переключить внимание... что тут тебе неясно?.. Мчался на тот берег, она - за ним... Дуб стоял, а кога уже не было - он же ученый: услышал, что бегут, - сам скрылся и цепь спрятал. В другой раз надо потише подбираться... да не одному - с нянькой вместе... Слушаться ее, одним словом.

Мне оставалось только восхититься Володиной реконструкцией столь давних событий:

- Ну, пушкинове-ед!..

Он рассмеялся:

- Пушкиноед, да.

- Как это - так? - я вскинулся. - Где прочитал? Или услышал?..

- Ходил тут как-то с одним... Тоже вроде тебя: не специалист, не ученый, а все ему надо, - принялся Володя рассказывать. - Узнал от меня про этот самый сундук, который еще мальчишкой помню, про эти бумаги в нем... Как начали к нам из Москвы приезжать. Сперва одну бумажку выманили, другую, а потом: сундук-то вам без бумаг - зачем? Какие-то деньги дали - наши и рады... как тогда жили после войны?.. Рассказал ему, а он: ну, пушкиноеды!

Об этом фамильном сундуке слышал от Володи не раз, но как-то все не собрался расспросить поподробней.

- Сундук-то ладно, - сказал теперь. - Был как бы в каждом даже не очень богатом доме... Откуда в нем бумаги? Какие?

- Помню отдельные листочки... как по листку отдавали... хотя нет, нет! Были тетрадки, мать говорила. И не одна...

- Но откуда, откуда?

- А как ты теперь узнаешь? - развел Володя руками.

- Но ты вот только что доказал, что ты - мастер исторической реконструкции... с Лукоморьем-то?

- Подкальываешь, Леонтьич?

- Да не подкальываю, поверь. Но знать бы хотелось! Когда он сюда последний раз приезжал? Александр Сергеич.

И Володя прямо-таки зашелся смехом:

- Да кто ж это, кроме него самого, знал, сколько раз и когда он сюда приезжал!

- Что это ты: считается, как уехал в лицей, так до приезда перед женитьбой он тут не появлялся.

- Да это только считается... я тебе как-нибудь. Тут есть один мужичок - надо вас познакомить. Он тебе-е!

- С три короба?

- Ну, дыма без огня не бывает, ты ж это знаешь...

- Предположим, что в последний приезд, когда дочь Арины Родионовны «яишенкой» тут его угощала, - взял теперь я на себя нелегкую миссию «реконструкции». - Предположим, он тут мог ей что-то оставить. Не для того, чтобы спрятать - как бы символический жест: в благодарность за детство... хотел соединить прошлое с настоящим... мало ли?

- Это-то ладно. Но тут он еще на бересте, Леонтьич, писал: на березе на живой ножичком - и то оставалось сколько лет! А там, в Михайловском, бумаги изводил столько, что няня только диву давалась. И расшвыривал листки, и что-то выбрасывал... а разве она не подбирала - не прятала? А вдруг да спросит потом? Вдруг да пригодится?.. По-прежнему за ним - как за мальчишкой. Ему так и не пригодилось - может, Марье действительно передала - разве не понимала, какая ценность? Ну, не в этом смысле, что денежная...

- С родным человеком связано...

- Ну, конечно! Любила его - вот и подбирала. Так же, как дядька его из дворян, - снова сделал Володя ударение на последнем слове. - Никита Козлов, так его?..

- Никита Тимофеевич.

- Он-то вроде и сам стихами баловался, как говорится, хотя какие там могли быть стихи... Сам в деревне рос, знаешь...

- В станице! - поправил я с нарочитой серьезностью: большая, мол, разница.

- Да хоть в станице. Небось такое завернут - уши завянут!.. А тут он за барчонка радовался: благородные стихи!.. Может, что-то и прабабке внушил... по-моему, Леонтьич, они друг дружке помогали с ним справиться, а заодно и крестьянский ум-разум вставить...

Прав, прав Володя Семенов: при всем уважении к Михайловскому - при высочайшем, ну еще бы! - надо бы признать, что народное начало пушкинских стихов заложено все-таки здесь, в Захарове, где прошли самые лучшие, золотые деньки детства Александра Сергеевича... Другое дело, что, очутившись в Михайловском снова в обществе няни, он опять мог радостно погрузиться в полузабытый мир:

Ах! умолчу ль о мамушке моей,
О прелести таинственных ночей,
Когда в чепце, в старинном одеянье,
Она, духов молитвой уклоня,
С усердием перекрестит меня
И шепотом рассказывать мне станет
О мертвецах, о подвигах Бовы...
От ужаса не шелохнусь, бывало,
Едва дыша, прижмусь под одеяло,
Не чувствуя ни ног, ни головы
.....
Все в душу страх невольный поселяло.
Я трепетал - и тихо наконец
Томленье сна на очи упало.
Тогда толпой с лазурной высоты
На ложе роз крылатые мечты,
Волшебники, волшебницы слетали.

Обманами мой сон обворожали.

Терялся я в порыве сладких дум:

В глуши лесной, среди муромских пустыней

Встречал лихих Полканов и Добрыней,

И в вымыслах носился юный ум...

Вот: Александр Сергеич, будто целенаправленно, сам указывает на истоки народного начала.

А в Михайловском, оказавшись в обществе няни, он наверняка ее переспрашивал, наверняка заставлял снова пересказать для него и то, и другое...

«...если бы в московское благородное собрание как-нибудь втерся (предполагаю невозможное возможным) гость с бородой, в армяке, в лаптях и закричал бы зычным голосом: здорово, ребята! Неужели бы стали таким проказником любоваться?»

Так ведь выходит, что «гость»-то этот - из Захарова!

И тут же невольно рассмеялся: а может, это мы с Володей Семеновым, два таких вот бесцеремонных «гостя» из Подмосковья без предупрежденья врываемся вдруг в «благородное собрание» профессиональных пушкиноведов, уважаемых не только в России академиков: «Здорово, ребята!...». Ой, нехорошо!

Тогда ли это пришло в голову, когда в Майкопе посмотрел на фамилию автора комментариев, известного академика...

Сейчас ли, когда слишком свободной цепи ассоциаций пытаюсь придать хотя бы относительный порядок?..

Вспомнил Дом творчества в Гагре поздней осенью, когда писателей было раз, два и обчелся, а за столиками в основном сидели шахтеры, которые сюда «в себе принесли»: в просторном, ярко освещенном зале не завтракали-обедали-ужинали - утром, в обед и вечером закусывали... Среди простой этой публики, в основном средних лет, а то вовсе молодой, выделялись три «божьих одуванчика»: высокий, с прямой осанкой, благообразный старик в светлом костюме и тубетейке, которая благодаря рассеянному взгляду из-под очков ее владельца имела вид академической шапочки, и с ним двое таких же древних ровесников: трогательно ухаживающие друг за дружкой - и оба за своим соседом - муж и

жена.

Мы сидели за одним столиком с Казаковым, вместе приходили в столовую, шли потом, не торопясь, прогуляться, и как-то я спросил его: мол, кто эти «долгожители»?

- Нехорошо, б-брат! - пожурил он, улыбнувшись. - Т-тебе не кажется, что не знать Дмитрия Дмитрича Благого - все равно, что не знать Пушкина?

- Вот оно! - сказал я с понятным почтением. - А эта неразлучная пара?

Как хорошо, как тихонько и ласково мог Юра смеяться, когда был трезв и в духе! Глаза под стеклами очков повлажнели, плотоядные губы расплылись в добрейшей, хотя не без насмешки, улыбке:

- Тут речь должна идти не о паре. Скорее - неразлучная троица...

- Это его брат? Или она - его сестра?

- Б-боюсь, ты и правда не поймешь, старичок! - явно забавлялся Казаков. - На твоей сибирской стройке, название которой вслух лучше не произносить, такого, конечно, не было...

- То есть?

- Любовный треугольник, старик! Крепкий, как сталь, которую т-ты там в своей Сиб-бири... на этом самом з-заводе...

Тут стало до меня доходить: и почему живут в одном люксовом номере, и почему глядевшие им вслед молодежники невольно качают головой и прячут то ли жалостливую, а то ли завистливую улыбку.

- Хочешь не хочешь, - начал было я, - а возникает вопрос...

- С вопросами - к тете Маше, которая убирает в их номере, - продолжал издеваться надо мной, провинциалом, слишком хорошо знавший себе цену Юрий Павлович. - Она тебе, как понимаешь, может н-немало любопытного...

Еще бы!..

Несколько раз спрашивала при мне Казакова, не приедет ли вскорости его друг «Лексаныч», который куда щедрее всех

остальных платит ей за выстиранные рубахи... Однажды я спросил его: мол, что это за «Лексаныч», Юр?..

И не успел Казаков ответить, как тетя Маша с благодарной горячностью пояснила:

- Евгений-то полностью Лексаныч!.. Петушенко.

Но мы о другом: о Благих. Вместе с «примкнувшим к ним»...

Вспомним-ка при этом «Черную шаль», написанную двадцатиоднолетним Пушкиным:

В покой отдаленный вхожу я один...

Неверную деву лобзал армянин.

Не взвидел я света; булат загремел...

Прервать поцелуя злодей не успел.

Безглавое тело я долго топтал

И молча на деву, бледнея, взирал.

Я помню моления... текущую кровь...

Погибла гречанка, погибла любовь!

Поистине «африканские» страсти: недаром ведь ревнивец Отелло был негр.

Стих настолько трагически-«серьезный» - как бы сказали нынче, крутой, - что невольно покажется нарочито шутивным прощанием с ревностью...

Снова ирония? Опять полушутка?

Но не ревность ли в конце-то концов Александра Сергеевича и погубила?

...Всякий раз, когда электричка начинает тормозить возле захаровской платформы, вглядываюсь в толпу на перроне: нет ли среди ожидающих Володи Семенова?.. Как правило, он стоит где-то посередине, садится в пятый или шестой вагон, где чуть посвободней, чем в последних, куда набиваются опаздывающие, и со временем мне стало казаться, что это говорит и о постоянстве его, и о предусмотрительности, и еще о каких-то признаках человека солидного. Да и весь вид его: высокий ростом, не то чтобы уже располневший - пожалуй, больше вальяжный. Голова крупная, черты белого лица ей под стать, но светлые усы - тонкой и аккуратной прямой щеточкой, о которой он явно заботится. В голубовато-серых глазах прячется открытая, добрая усмешка... Или это я всегда их такими вижу, потому что разговоры мы ведем все больше о том, что помнят о Пушкине нынешние его захаровские земляки.

Когда он входит в салон, поднимаю руку, мол, здесь я, давай сюда. А то привстаю, чтобы уж точно увидал и не пристроился у входа, ко мне спиной. Если еду с попугчиком, тут же их представляю друг другу, непременно рассказывая о Володином родстве с няней Пушкина, и первоначальное удивление, а то и недоверие нового знакомого Владимира Ивановича всякий раз забавляет и заставляет быть чуть словоохотливей...

- Порода, а?! - уважительно шепнул мне как-то под общий шум вагона наш кобяковский гость Алик, на самом деле - Алий, дитя кубанской казачки и черкеса, самоопределившийся, наконец, как православный русак, но все-таки ощущавший в себе некую раздвоенность.

- В общем-то, да, - сказал я неопределенно и тут, пожалуй, впервые задумался: а что ж это еще, и действительно, в моем друге сказывается?.. Такими и были издавна жившие под Москвой потомственные крестьяне-русаки, или Володе значительности придает еще и осознание своего родства с пушкинской няней?

В это утро он был явно в ударе - вопросов задавать мне не пришлось.

- Ты что ж думаешь, Леонтьич? - начал своим обычным, чуть ироническим тоном. - Лев Николаич по деревням вокруг Ясной Поляны наоставлял детишек, как под копирку, а наш Александр Сергеич не успел? Эге, брат!.. Если учесть африканский темперамент и раннее развитие, а?.. Тут начал баловаться с девочками и всю жизнь потом сюда к ним приезжал...

- Да ладно тебе - всю жизнь!

- А ты думал?.. Знали немногие, но как только пропал из Москвы, где искать?.. В Хлюпине.

- В Хлюпине?

- Там всегда были девочки красивые. А доехать из Москвы...

- Не скажи!

- А что стоило?.. В Перхушкове была большая ямская станция. Это теперь - Перхушково, и ладно. А тогда волость по нему называлась. Мы были Перхушковской волости Звенигородского уезда... Следующая большая станция по старой Смоленской дороге - Большие Вяземы. Там и сейчас есть такое место - Ямщина. Красивое место, еще недавно большой пионерский лагерь был... Два прогона от Москвы, а? А тут с ямщиком договорился и - чуть в сторонку. Как нынче от электрички на такси...

Я, во-первых, не верил, а во-вторых, по привычке Володю подзадоривал: да ладно тебе!

- Ты слушай, пока рассказываю, слушай. Там в Хлюпине есть такие Колчины. «Мы - цыгане, цыгане...». А цыгане для тех, кто ничего не знает. А для местных - эфиопы!

- Так уж?!

- Да если б только они!.. В Захарове жил дед Вася, тоже якобы цыган... Тут цыган этих липовых!

- А может, липовых эфиопов?

- У Цветковых и сейчас тут родня... А когда жив был Борис Васильич, тот и не думал отпираться. Нос плоский, а губищи на километр. Работал трактористом: соляркой измажется - ну, негр, как есть - негр. Его не только за глаза, и при нем самом: «Поль Робсон». Такая была кликуха.

- А может, Александр Сергеич тут ни при чем? - пытался я охладить Володин пыл. - Кто-нибудь из Ганнибалов... кто-то другой, мало ли?

- Поздно ты, Леонтьич, хватился: многие теперь уже ушли, - посерьезнел Володя. - Был такой Анатолий Поваров, электрик... ну, начальник участка, не все равно. Вот он все это собирал и доказывал. Недаром дружил с Галиной Васильевной, она теперь в музее работает. И Капитолина Васильевна его уважала, она теперь тоже при музее.

- Так и что твой Анатолий Поваров?

- Он говорил: читайте, ребята, Пушкина - там все есть. Сейчас точно не помню, домой приедешь - в «Руслане и Людмиле» посмотри... Описание захаровской поляны - один к одному. И как там его девица смущает... может, даже подговорили: надо же барчуку научиться утехам, так ведь?

...К этому можно по-разному относиться, но ведь нашел я потом в поэме это место, нашел... После того, как Пушкин

описывает сон околдованной Черномором Людмилы и то, как, «бесплодным пламенем томясь», страдает возле нее Руслан, следует лирическое отступление - и в самом деле довольно прозрачное:

И верю я! Без разделенья

Унылы, грубы наслажденья:

Мы прямо счастливы вдвоем.

.....

Я помню маленький лужок

Среди березовой дубравы,

Я помню темный вечерок,

Я помню Лиды сон лукавый...

Ах, первый поцелуй любви,

Дрожащий, легкий, торопливый,

Не разогнал, друзья мои,

Ее дремоты терпеливой...

Но полно, я болтаю вздор!

К чему любви воспоминанье?

Нашел я это, раз и другой перечитал и долго потом сидел, улыбаясь...

«Милые вы мои! - все думалось. - Как бережно хранят, как трогательно помнят мельчайшие подробности, из которых

вырастают дорогие их сердцу легенды... А может, и правда, нет дыма без огня?»

Кто-то защищает диссертации, пишет научные исследования, основанные на бумагах из захаровского сундучка Семеновых... Не исключено, что тот или иной листок из него выпорхнет за рубеж и занесет его на какой-нибудь аукцион, где продадут его не за малые деньги... Таков, к сожалению, нынче наш мир, таков!

А им тут, за здорово живешь все раздавшим народным пушкинистам, осталось все-таки самое главное: не замутненная ничем цельная любовь к своему великому земляку.

«Читайте, ребята, Пушкина, там все есть!»

Ишь: эфиопы!..

Как-то мы с Володей неожиданно встретились на перроне в Одинцове: он там работает, а я приезжал по каким-то своим делам.

После радостных восклицаний он вдруг примолк, внимательно в меня всматриваясь, спросил:

- Ты в церковь ходишь?

- Стараюсь бывать.

- И причащаешься?

- Стараюсь тоже...

- Когда последний раз причащался?

- Месяц назад. В монастыре... Может, даже меньше. Да и у нас теперь в соседнем селе, в Тимохове, церковь. Во имя Серафима Саровского. Рубленая. Красотища!.. Богатые ребята построили. И батюшка - сибирячок, из-под Иркутска: отец Владимир.

- От Захарова до Тимохова по прямой - всего ничего, - сказал он. - Оттуда тоже наши невест брали. Считалось, хорошие девчата. Как и в Раеве. Оттуда тоже к нам раньше по прямой...

- Почему - раньше?

- Теперь-то не пройдешь, позарастало... А Тимохово от тебя рядом: молодец, что ходишь.

- А с чего это вдруг - про церковь?

Он опять будто подхватил:

- Вид у тебя благостный.

У меня как раз сложная продолжалась полоса, я хмыкнул недоверчиво:

- Хорошо, если и действительно так.

- Я тебе говорю, - уверил Володя. - И строй речи у тебя все-таки особый... по нашим временам.

- Давай! - сказал я, посмеиваясь. - Давай.

- И ты никогда не материшься...

- Володя? - укорил я тоном. - Еще чего! Разве это заслуга?

А он опять за свое:

- По нашим-то временам...

- С чего это, и правда что, взялся? - спросил его. - Сам-то в храм часто ходишь?

- Не получается! - сказал он горько. - То работа, то... всякое, знаешь.

- А откуда же ты тогда - и про строй речи. И - о благости?

- С детства, наверно, помнится. Как приболеешь... да не только это. Всякого бывало по молодости... А куда? Как что случится. Конечно, к бабкам. К знахаркам. К заговорщицам... Те давай молитвы шептать. У нас в роду было много.

- Стоп! - обрадовался я. - Погоди: Арина Родионовна тоже была знахарка? Тоже умела заговаривать?

Володя рассмеялся:

- Н-нет, она, по-моему, нет!

- По-твоему, или - точно?

- Ну, вроде точно. У нее другие были таланты... а почему о ней вспомнил?

А у меня в сознании вдруг как бы окончательно это оформилось: то, что уже несколько лет не давало покоя.

- Почему, спрашиваешь. А подумать?.. Не она ли мальчишку от французского всего отшептала?.. А к русскому - ну как приворожила!

И раз, и другой Володя качнул крупной головой, словно что-то прикидывая, потом одобрительно сказал:

- Меняйся, Леонтьич, на Захарово! И тоже будешь, как Толик Поваров...

- У вас там своих «пушкиноедов» хватает, ладно!

- Вообще-то, да, - согласился он.- А в Кобякове твоём все меньше... А раньше кобьяковские брали наших девчат, сколько дворов, считай, было с бабами из Захарова!..

В нашем Кобякове сейчас двое малых детишек, которые тут родились и в нем прописаны: внучка Василиса, ей два с небольшим годика, и внук Ваня - ему на днях исполнится год.

Василиса уже «болясика» - большая, и с ней мы гуляем за ручку, а Ваня, со слов сестры, пока «маколя» - маленький, и на прогулку везу его в коляске.

Тяжелые грузовики с длиннющими армированными плитами, едущие на дальнюю окраину, где выросли коттеджи «новых русских», автокраны с бетономешалками, прочая ревущая техника - все это окончательно испортило единственную деревенскую улицу, и мы выбираемся на плохенькую, но все-таки получше, асфальтовую дорогу чуть в сторонке от Кобякова. Возле бывшей фермы с давно зияющими пустотой окнами и дверьми и на днях обвалившимися стропилами поворачиваем налево и катим под горку, но у поворота на Тимохово снова берем левой, въезжаем на небольшую горушку. Отсюда дорога идет к стоящему на противоположной стороне окаймленного лесом обширного

поля зданию разоренного санатория, которому она, дорога эта, появлением своим, собственно, и обязана.

А какой, какой был красавец!

Московским горкомом партии замышлялся как детский, и не осталось, кажется, ничего не сделанного для его уникальности. По великолепному проекту построенный на месте сож-женной когда-то барской усадьбы, он стал на опушке, как тут и был. В чащобу леса уходила от него давно заросшая, но все-таки еще четко ограниченная вековыми липами неширокая проселочная дорога к Хлюпину, под пологим скатом за ним угадывались в кустарнике смутные очертания просторного водоема с разомкнутой горловиной взорванной в революцию плотины. Говорили, что и плотину потом потихоньку восстановят, пруд зальют снова и откроют для ребятишек прогулочную, с экипажами на лошадках, аллею...

Пока же в то время властвовала над санаторием самая современная медицинская наука: каких только в нем не было предусмотрено лечебных кабинетов, игровых и оздоровительных залов! Дабы не нарушать «окруженной среды», как, посмеиваясь, говаривал в Сибири давний мой старший друг и наставник по таежной охоте дедушка Савелий Шварченко, Савелий Константинович, не только котельную - все вспомогательные, включая пищеблок и столовую, службы обосновали вдалеке от главного корпуса, на другой стороне дороги - тоже на красивой опушке.

Опасность пришла с другой стороны.

Когда все уже готово было «под ключ», когда оборудованием, в том числе новейшей медицинской техникой, были забиты практически все помещения, оставалось, как говорится, разрезать ленточку, грянула перестройка...

Такой открытой, хоть шла все больше ночью, грабильники не приходилось видеть со времен Отечественной войны, когда наши уже оставили станицу, а немцы ее еще не заняли... И через год-другой так же, как на молочной ферме, засквозили черной пустотой окна и двери, только красавец-корпус, сложенный из светлого, под беж, кирпича, как бы чуть приподнялся да так в изумлении и замер, так нерушимо и стоит...

Чтобы не дразнить неизвестно что стерегущих теперь собак, может быть, уже брошенных людьми и продолжающих впроголодь нести свою честную службу по привитому человеком инстинкту, мы с Ваней поворачиваем обратно, снова проезжаем мимо разрушенной фермы, катим дальше - мимо кооперативного «зеленого магазина», получившего название сперва по внешней окраске, но после начавшего упорно подтверждать знаменитый марксистский тезис о единстве формы и содержания, катим мимо «альтернативной» ему частной азербайджанской палатки...

Слева теперь тянутся догнивающие домишки военного городка ракетчиков из знаменитого «третьего кольца» обороны Москвы... То мы, случалось, чуть ли не потайными тропками пробирались к их магазину, в котором тогда чего только не стояло на полках, - теперь оставшиеся там «последние могикане», пошатываясь, бредут к нашему «зеленому», и рано

постаревший прапор, от пепельно-серых щек которого еще недавно можно было прикуривать, так ярко пылали, приняв свои «боевые сто пятьдесят», в который раз начинает рассказывать, как по секретной подземной дороге добирался чуть не до центра Москвы за какие-то тридцать пять - сорок минут, и чтобы хоть раз «отменили электричку» или «расписание изменили» - ни в жисть!..

Справа за магазином начинается обширное поле, тоже окаймленное дальним лесом. Еще недавно тут сеяли пшеницу, овес, потом пускали его под траву. Нынче который год поле зарастает дурниной, но по осени сюда непременно приезжают комбайны, аккуратно ее выкашивают. Недоумевал сперва: а зачем в таком случае, зачем?

Увидел как-то и раз, и другой стоявшие обочь дороги рядом несколько «мерседесов» и людей с видом опытных землемеров возле них, потом как-то - два-три «лендровера», владельцы которых тоже хозяйски, явно со знанием дела жестикулировали, и тут вдруг открылось: эге, брат!.. Как же ты приотстал. Под знаменитым Новокубанском, что рядом с Армавиром на родине, все продолжаешь толковать с известным еще недавно на весь Союз землеробом Владимиром Яковлевичем Первицким и старым своим, еще с сибирских времен, дружкой Володей Ромичевым об их опыте посевов на больших площадях, а тут давно уже иная технология обработки земли - иная!

Урожая приходится ждать несколько лет, зато какую можно взять потом зеленую массу!

Хрустящие бумажки вместо сочной травы...

Кому что!

Одному - «зеленого змия». Другому - просто «зеленые».

Поле недавно в очередной раз прибрали, скошенную дурнину свезли, и свежая отава уже окрасила его в яркий изумрудный цвет... Неподалеку от дороги паслась единственная теперь на все Кобяково корова - черная, с белыми пятнами, беспородная пеструха, которую упорно продолжала держать ради больных детишек жительница окраинных барачков Светлана.

Остановил коляску напротив, развернул так, чтобы Ване лучше было видеть:

- Коровка!.. Му-у. Видишь? Хочет дать тебе молочка. Подойдем к ней? Или поедем дальше?.. Молочка Ваня хочет?

Он смотрел на меня без улыбки, даже с какой-то скорбью в глазах.

- Что такой серьезный? Коровка. Молочко дает. Му-у!.. Давай у нее для Вани попросим?

Ваня вдруг насупился еще больше.

Я глянул на это привольное изумрудное поле, на котором в разных концах могло уместиться не одно многосотенное стадо, и веки у меня смежились вдруг так, что неожиданные слезы их больно кольнули...

«Валяешь тут дурака! - подумал. - Му-у!.. Коровка... Да, может, мальчишка понимает лучше тебя... ну, чувствует. Ощущает, что-то не так... совсем не так... а ты тут: му-у!.. Господи! Как им придется жить - ему, сестрице?.. В каком мире?..»

Утер неожиданные слезы, развернул коляску, покатил молча.

Навстречу шла женщина с небольшим рюкзачком, поодаль за ней еще двое с вещами: видно, мимо поворота к нам только что проехал рейсовый автобус.

Поздоровался сперва по привычке, но тут же узнал: Рая, москвичка - сколько раз помогал ей тащить тяжелые сумки, когда вместе, раньше бывало, с электрички сходили в Скоротово и шли потом пешком через лес.

Она будто угадала, о чем подумал, сказала жалостно:

- Да вот, теперь некому носить... может, слышали?.. Умерла мама, завтра сорок дней как раз...

- Тетя Дуся? - откликнулся искренно. - Ай-яй, как жалко!.. Правда, не слышал.

- Да она в последнее время у старшей дочки в другой деревне, мне ездить в нашу тяжело было.

- Это знал, да, бабушки говорили... Сколько же было ей?

- Да пожила она хорошо, - сказала Рая, как будто слегка гордясь мамой. - Девяносто семь было.

И я тоже невольно порадовался:

- Ай, молодец!

- Крепкая была...

- А меня, выходит, не было... В Москву, может, уезжал, - сказал снова виновато. - Обязательно бы пришел. К тете Дусе -

обязательно.

- Я знаю, - сказала Рая. - Она вас тоже уважала... спрашивала всегда. Но хоронили ее в Захарове, она ж захаровская была...

И до меня впервые дошло: Дуся-цыганка!

Да не из тех ли самых «липových цыган», которых Володя Семенов пытался «продать» мне за эфиопов?!

Рая пошла себе в деревню, а мы с Ваней вдоль чуть ли не сплошной полосы, обозначенной требухой из выброшенных на ходу и разбившихся от удара о землю черных полиэтиленовых мешков со всяческими отбросами, дальше тронули по выбитому асфальту...

Неужели Дуся-цыганка, и правда, думал, из тех?..

Покачивая головой, вспомнил, как мы с ней много лет назад познакомились.

Тогда мы только что купили у Володи избу, приезжали сюда с собакой, водолазом Кветой, которую выпросил у нас Жора после гибели младшего своего братца... Квете едва исполнилось три, молодая была, игручая, и когда на улице в Кобякове пожилая женщина в нерешительности шагнула вдруг в один бок, в другой, собака бросилась к ней, облапила плечи, повалила...

Я поздно сообразил, что это должно было произойти: придавленный тяжелой бедой, ходил тогда, угнув голову.

Бить Квету я никогда не бил, но повоспитывал перед Дусей тогда достаточно, а на следующее воскресенье пошел к ней с конфетами.

- Да че это вы? - удивилась Дуся. - И не подумаю взять. Сама виноватая! Маленькая, чтоб знать? Перед собакой на улице никогда нельзя туда-сюда: вроде как ее дразнишь. Была бы какая другая собака, не стала бы менжеваться, а тут же - ну, такая большая, такая черная да красивая - никогда таких не видала!

Ньюфы тогда в Москве, и правда что, были редкостью, завзятые собачники чуть ли не всех, начиная с подаренного Косыгину кем-то из знаменитых американцев и подсевшего на ноги из-за нечастых прогулок кобеля по кличке Ред Стар - Красная Звезда, помнили по именам, и длинная, украшенная древними титулами и недавними чемпионскими званиями родословная каждого отскакивала, что называется, у них от зубов...

Вот и Цыганку пленила красота нашей Кветы де Коры... остальное в длиннющей кличке доброй собаки, помогшей нам

выжить в годину испытаний, придется все-таки опустить: ведь не литератору теперь достойный гонорар платят - с него деньги на издание требуют, как тут не вспомнить восклицание Александра Сергеевича, через столько-то лет подхваченное на Кавказе влюбленным в его творчество моим кунаком, черкесом Юнусом: «Какая жизнь с пера?!»

Так вот, как-то по осени Дуся пришла к нам с тремя кустами черной смородины, которой «в Кобякове ни у кого больше нет». Долго сидели около Кветы, которая, конечно же, все пыталась лизнуть ей руку, долго о «чудной» породе расспрашивала, потом сказала: если и в самом деле захочу чем бы то ни было отдариться, то лучшим отдарком будет щенок от Кветы... Если и в самом деле у собаки появятся, не забуду.

Однажды она постучала в окошко, и, выглянув, увидел: стоит рядом с ней мой друг, мой сосед по «правдинскому» нашему дому на Бутырской Слава Пастухов. Стоит и во все широкое лицо щедро улыбается, чуть ли не трясется от смеха. Что, думаю, такое, чему он так радуется? Может, кроме журналистской награды «Золотое перо» получил какую-нибудь большую правительственную?

С благодарностью, что дорогому гостю указала дорогу, проводили Дусю-Цыганку, и тут уж Слава дал себе волю:

- Из леса выхожу на околицу, все, вроде, как ты объяснял, но на всякий случай начинаю, само собою, расспрашивать: где тут живет писатель Немченко?.. Все только пожимают плечами: да нету у нас в деревне такого, нету!.. Встречаю, наконец, эту женщину, она тоже: да нет у нас никакого писателя, откуда?.. Говорю: у него еще большая такая собака, водолаз, а она: Квета?.. Ну, так бы и сказали!

А мы про «Евгень Саньча». Про «Петушенку»... Что такого-то?

И вот катил я коляску и все Цыганку припоминал: какая была? Смуглая, это правда. И, несмотря на годы, очень красивая... Удивительная какая-то была ее красота, правда-правда. Будто Дуся осталась в нашей деревеньке, в затерянном в подмосковных лесах Кобякове, от каких-то старых, может быть, сказочных времен, когда все люди были и красивы и, как она, добры...

Дуся-Цыганка!..

Вот оно, выходит, откуда все... надо же!

И я не о возможном родстве тети Дуси, нет.

О сказках... О живущей в людях надежде.

Ваня повеселел, чему-то все улыбался, и я спросил в конце концов: мол, ты-то что понимаешь?

Понимал бы, и правда!

Приснопоминаемый Александр...

Ехали с Юнусом в его машине, привычно рассуждали о ранних холодах, которые принес «темир-казак» - жестокий северный ветер, неожиданно сменившийся средиземноморской циклон, заговорили потом о наших общих товарищах, и я обронил такую фразу: вчера, мол, у Эдика, у Овчаренко, в мастерской в компании художников пришлось маленько «принять», и в самом деле маленько - «не больше кавказской нормы спирта».

- Как ты сам любишь выражаться: что-то новенькое, - миролюбиво подначил меня Юнус. - Никогда у нас не было этой «кавказской нормы»... И спирта не было: «белый конь» - это... приобретение уже последних, как тебе сказать... это...

- Русский подарок? - подсказал я как опытный, давно уже работающий с Юнусом толмач-переводчик.

- В общем-то - да, - согласился он. - Откуда ты взял «кавказскую норму»?

- Э-эй, брат! - вскрикнул я. - Что это ты - на красный?!

- Думал, успеваю, - ответил Юнус ворчливо.

На самом-то деле это я проскочил «на красный»... На кровавый цвет Кавказской войны.

Но что делать, что делать: штука вполне объяснимая.

Вместе с выходом пухлых и сырых якобы исторических романов об адыгской трагедии, цель которых часто сводится к одному - играя на национальных чувствах, возвыситься, наряду с бесконечными, прямо-таки кричащими публикациями старых и новых источников, смысл которых тоже един - вина русских в геноциде черкесов, вышло много достойных книг, на страницах которых «покорение Кавказа» изображено если не со всей объективностью, то с ощутимой ее долей.

Куда от нее денешься - тень прошлого. С новой силой вспыхнувшая отчаянная Кавказская война: историко-литературная в этот раз. Пока, слава богу, художественно-публицистическая.

Какой-никакой, а все же знаток Кавказа, ясно ощущающий в себе ток казачьей крови, я с интересом читал и то, и другое,

и тем, и другим сопереживал, сочувствовал и всякой умной книжке радовался, как дорогому подарку...

В Москве на книжном развале увидел прекрасно изданный том Алексея Шишова «Забытые русские полководцы Кавказской войны»... Какие характеры! Какое богатство оставшегося до этого втуне материала!

Не говорю о величественном главном - узнал много неизвестных мне прежде и жестоких, и трогательных подробностей.

С «кавказской нормою» ладно, не самое главное, хотя и это немаловажно: всякий вечер за ужином каждый солдат получал стакан водки.

Куда любопытней и поучительней понятие «кавказский костер»: любой офицер, как бы ни озяб или промок, имел право подходить к солдатскому костру лишь в том случае, если возле него было свободное местечко: «Примите, братцы!»

Недаром это самое «братцы» по отношению к солдатам и нижним чинам если не родилось на Кавказе, то очень прочно в русской армии тогда укоренилось.

А «кавказская дуэль»?

Офицерам, ставшим в одночасье непримиримыми врагами, не надо было стреляться: дождались очередной вылазки либо нападения и без оружия шли рядом навстречу «татарину»... Убитый либо раненый падал, оставшийся в живых из ножен выхватывал шашку либо доставал из кобуры пистолет и в наступающей цепи шагал дальше...

Но это все книжное знание, так сказать, его и в Москве, если не лениться, добыть можно...

Здесь же, на Северном Кавказе, та самая геополитика, то самое евразийство, о которых с таким значительным видом рассуждают в столице в телевизионных студиях либо на страницах газет, приходят к тебе в бытовом обличье.

В гостях у своих кунаков, бывало, при каком-нибудь слишком откровенном разговоре я пробовал попридержать хозяев: да что же это вы, черкесы, мол так-то - при мне, при заядлом русаке?!

- А что тут такого? - следовало наивное, но в общем-то справедливое. - Ты наш!

Может, это один из подсознательных, простонародных способов «вербовки»?

Наш - и все тут!

Иной из старых знакомцев вдруг говорил:

- Так ты здесь давно?.. А я не знал, представляешь! Только вчера отсюда Шамильчик уехал, тут в горах отдыхал: надо было вас познакомить...

Но это все ладно, что там ни говори. Главное - текст, который останется после нашей с Юнусом общей работы, после наших многочасовых споров...

Но и тут-то непросто: «С кем же Пушкин? На чьей он стороне? Считает, что одним нужна воспетая им вольность, а для других и кнута хватит?.. Перед кем он тогда лукавит? Перед царем? Или - перед черкесами?»

Текст из «Милосердия...», в котором вопрос, как говорится, ребром...

Уставший от этого русско-черкесского противостояния в прозе, от малой на этот раз - из-за Пушкина! - «кавказской войны», думал про себя иной раз: да ладно, ребята!.. Это мне вы тут голову заморочили, уже и в самом деле не пойму, казак я или давно черкес, и не сразу разберу, с кем я, но Александр Сергеевич, он-то - уж само собой с монархом!

И вот все это выстраданное годами общения с друзьями на Кавказе знание, все эти свои не очень-то веселые соображения везешь, в конце-то концов, в Москву и, что ни говори, думаешь: столица, как-никак... не только друзья-товарищи... может быть, найдется, наконец, державный люд из высших либо хотя бы средних чиновников? Выслушают, наконец. И, наконец, - поймут?

Вера в это давно во мне попригасла: после длинного моего письма на имя Казанцева, в котором я призывал заняться прежде всего восстановлением единого духовного пространства Северного Кавказа...

Один из его помощников, в Москве прочитавший копию письма, наивно - какое тут еще словцо подберешь! - воскликнул: да что вы, мол! Единственное, что сохранилось, мол, на Кавказе - это как раз оно, духовное-то пространство... Вот встречались на днях с Расулом Гамзатовым, и я в этом еще раз убедился!

Мудрый Расул и не в том еще убедит кого хочешь!

Как было при Советах.

«Сижу в президиуме, а счастья нет» - это небось чуть не главное, на шутке высказанное его откровение.

Не только Восток - «дело тонкое», нет.

В Ставрополе, когда с помощью армавирского иерея отца Сергия Токаря, старого моего друга-доброжелателя, я прорвался к Казанцеву сквозь толпу зарубежных эмиссаров, непонятно с чего появившихся на встрече «духовных лидеров Северного Кавказа», и, первым делом выяснив, что письма моего он в глаза не видал, стал напористо, хватко, коротко объяснять суть своего миротворческого проекта, Казанцев принялся не только соглашаться со мной, но как бы даже требовать от меня немедленного исполнения предложений... непрерываемым тоном стал как бы даже обвинять меня в излишней медлительности...

- Разве не нужна «Библиотека народов Кавказа»? - спрашивал я.

- Очень нужна!

- А общекавказский литературный журнал?

- Очень нужен!

- А специальные кавказские премии: «Кавказская премия Пушкина»? «Кавказская премия Лермонтова»? Толстого?

- Давно нужны! - чуть не прорычал он. - Делайте!.. Делайте!

Это я-то сам все должен делать?

Нерадивец этакий, а?..

Но, может быть, думаешь, с тех пор хоть что-то у нас да изменилось? И найдется государственный человек, который не одному мне это «поручит»? И в башочке у которого беседа наша, пусть ненадолго, застрянет.

В тихом, будто бы даже сонном Майкопе черкес Каплан Кесебежев, поэт, потерявший сына в Абхазии, на последние деньги, на свой страх и риск выпустил несколько номеров миротворческого журнала «Глагол Кавказа», где кого только нет под одной обложкой: абхазы, братья черкесов, воюют с грузинами, а в журнале заглавным идет грузинский роман... Долго пребывавший чуть не в одиночестве «адыгейский диссидент» нынче понимает, как это важно: восстановить доверие между пылками насельниками седого Кавказа, сплотить горцев вокруг России... А что же столица?

Дело вообще-то удивительное: перестук колес под вагоном при въезде в Москву словно усиливает в тебе желание быть

понятым и укрепляет надежду...

Но вот едешь по ночной Москве уже в автомобиле, видишь это разлитое море света - лампочек над каким-нибудь захудалым казино хватило бы на освещение половины моей станицы, в которой с наступлением сумерек и до утра воцаряется тьма кромешная, видишь яркое разноцветье рекламы, большинство которой в иностранном написании, и тебе вдруг до зеленой тоски становится ясным: нет-ка, брат! Никого тебе нужного ты в жирующем этом городе не найдешь: только и того, что с одним-двумя старыми товарищами за долгим разговором отведешь душу.

«А за всех этих чинодралов пусть Пушкин думает!» - насмешливо вздохнул я однажды и тут же вдруг поразился неожиданному открытию: батюшки-светы, да разве это, и в самом деле, не так?!

Призывавший когда-то к русскому миссионерству на Кавказе, сам он так и остался тем бессменным, поистине бессмертным нашим миссионером.

Ну, конечно же: имя его - духовная скрепа, удерживающая сегодня Кавказ.

И что-то такое еще стало разом, как бы в едином потоке, мне открываться: Захарово, Саввино-Сторожевский монастырь в расположенном неподалеку Звенигороде, где Пушкин наверняка бывал мальчиком... Как-то спросил отца Феофила, иеромонаха: что у вас среди братии известно о посещении Пушкиным вашей обители? Если не достоверно, то хотя бы в преданиях, может быть, в легендах.

- Да ведь, конечно, был он в монастыре, если о нем даже стих у него есть! - уверенно ответил отец Феофил.

Я стал настойчиво спрашивать: что за стих? Где можно найти?

Из кармана рясы отец Феофил достал мобильник, взялся набирать номер:

- Это ты, отец Кирилл?... Помнишь, говорил, наша прихожанка принесла тебе стих Пушкина о нашем монастыре?

И стало радостно: выходит, не один я об этом пекусь!

Вот он, этот короткий стих, который по вполне понятным причинам не входил в двух- или трехтомники Пушкина, - нашел его потом в десятичном собрании:

На тихих берегах Москвы

Церквей венчанные крестами

Сияют ветхие главы

Над монастырскими стенами.

Кругом простерлись по холмам

Вовек нерубленные рощи,

Издавна почивают там

Угодника святые мощи...

В комментарии к написанному в 1822 году восьмистишию сказано: «Вероятно, начало эпического произведения, замысел которого остается неизвестным».

Зато какая привязка к местности, какое чуть не адресное указание на Саввино-Сторожевский монастырь: без упоминания названия его.

Эти стихи в трудные минуты бормотал я потом в Майкопе, перед иконкой преподобного Саввы, просил его поддержки и высокого заступничества и, признаться, переживал, когда в церквах на Юге не только не находил хоть больших, хоть малых икон своего звенигородского покровителя - часто не находил у пожилых прихожан даже памяти о нем... Как в самом деле, как?!

Святой Савва был сподвижником преподобного Сергия Радонежского, духовником монашеской братии Троице-Сергиевой лавры, из игуменов ее ушел под Звенигород, на гору Сторожу, под которой теперь воссоздали его пещерку... Трудями и заботами святого созданный монастырь считается вторым по духовному значению: Савва Сторожевский - покровитель законных государей и государственности русской...

Вот и сложить все: как не обращаться к нему нынче-то, во времена новой смуты?

Да и потом, потом: разве не в звенигородских местах широко гуляла прежняя, со Лжедмитрием и Мариной Мнишек, польская разлюли-малина?

Из «Истории» Николая Михайловича Карамзина: «Лжедмитрий действовал как и прежде: ветрено и безрассудно; то

желал снискать любовь россиян, то умышленно оскорблял их. Современники рассказывают следующее происшествие: «Он велел сделать зимой ледяную крепость близ Вяземы, верстах в тридцати от Москвы, и поехал туда со своими телохранителями, с конной дружиной ляхов, с боярами и лучшим воинским дворянством. Россиянам надлежало защищать город, а немцам взять его приступом; тем и другим вместо оружия дали снежные комы. Начался бой, и Самозванец, предводительствуя немцами, первый ворвался в крепость; торжествовал победу, говорил: «Так возьму Азов», - и хотел нового приступа. Но многие из россиян обливались кровью: ибо немцы во время схватки, бросая в них снегом, бросали и камнями. Сия худая шутка, оставленная даром без наказания и даже без выговора, столь озлобила россиян, что Лжедмитрий, опасаясь действительной сечи между ними, телохранителями и ляхами, поспешил развести их и возвратился в Москву».

Не напоминает ли это кое-что из политического цирка, до боли знакомого по временам нынешним?

В Больших Вяземах, еще хранивших следы забот прежнего хозяина, Бориса Годунова, по пути из Речи Посполитой в Москву останавливалась «гордая полячка», так печально потом закончившая... Но дело-то ее и муженьково живет!

Когда чуть не постоянно слышу в метро вошедшую в моду у нищих скрипачей пронзительную «Тоску по родине», с горькой усмешкой думаю: вот вам, ребятки, - вот! Нам: «Полонез Бжезинского»...

Польский отыгрыш - за века и века.

А что такое «бжеза», учитывая, что «эр» у смертельных наших «друзей» как бы отсутствует? Береза!

Бжезинский, выходит, - Березовский!

...Из Майкопа я приехал в конце января, приехал с повышенным давлением и тяжестью в душе: может, в наших долгих спорах с Юнусом чего-то я не смог доказать ему... или бесполезное это дело - доказывать. Разница менталитетов, ставшая - кроме всего-то прочего - одной из причин столь долгой затяжки в Кавказской войне, она ведь не исчезла со временем, вовсе нет... Другое дело - достоверное знание, которое ничему не мешает. Не раз и не два приходило на ум, что друга своего, черкеса упрямого, полюбил еще горячей, да и он, не сомневаюсь, вовсе не стал ко мне хуже относиться.

Было объединяющее, хочешь не хочешь, ощущение, что мы с ним занимались плечом к плечу очень трудной, не всегда благодарной работой, которую за нас больше никто, может быть, и не смог бы сделать... Может, не захотел - дело десятое. Главное: до сих пор не сделал.

Медленно, как после болезни, я отходил и вдруг однажды, повеселев, попросил у сына мобильник и набрал номер отца

Феофила:

- Скажите, батюшка, нельзя ли в нашем монастыре отслужить панихиду по Пушкину?

- А с чего это вдруг, объясни, Гурий?

- Завтра очередная годовщина со дня смерти - самое время помянуть... Тем более под сенью святого Саввы, покровителя русской государственности... Разве Александр Сергеевич не был державником? Да один из самых великих... «Россия, встань и возвышайся!» - помните, батюшка?

- Отец Феокист должен быть у себя, - потеплевшим голосом сказал монах. - Сейчас схожу к нему. Ты правильно пойми: не только известить настоятеля - возьмем у него благословение. Перезвони-ка через час!

А через несколько минут в рабочий мой кабинет вошел сын:

- Только что звонил батюшка, просил отвезти тебя завтра в монастырь: в одиннадцать - панихида по Пушкину...

Разве не тот случай, когда панихиде можно обрадоваться?

Стал размышлять, что сам-то я должен бы подготовить синодик имен ближайшей родни Александра Сергеевича... да только ли родни? Как заодно не помянуть «дядьку» Никиту Тимофеевича Козлова, пробовавшего рядом с Пушкиным чуть ли не все дни его жизни... на руках несшего его, раненного, от кареты Геккерена в квартиру на Мойке... проплакавшего чуть ли не всю дорогу до Святогорского монастыря, куда вместе с Тургеневым для погребения вез тело Пушкина...

А можно ли Арину Родионовну не помянуть?.. «Приезжай, батюшка, - звала из Михайловского, - всех лошадей на дороге выставлю...»

Стал вдруг искать книжечку Виктора Гончарова «Ай да Пушкин!», в которой было об этой няниной весточке... Удивительная вышла тогда у Вити книжечка! Только он, кубанский земляк мой и старший друг сердечный, светлая ему память, Виктор Михайлович, с неумной его фантазией живший постоянно в мире поэзии, мог такое сообразить: написать стихи к рисункам Пушкина, сделанным на полях его рукописей... Да какие стихи!

Бывало, звонишь ему, а из трубки - приглушенно так, но удивительно твердо: «Дух Гончарова!» И вот жив дух его, жив, коли постоянно вспоминаю... Но не поминал ведь, все некогда...

...И тут выплыло: как с отцом Ярославом Шиповым пришли в Патриархию, сидим в кабинете у владыки Арсения, епископа Истринского, и он - «правая рука» Патриарха Святейшего - посматривает с ласковой хитрецей то на одного, то

на другого:

- Будем надеяться, мысль дельная... Что же... ищите пока неоткрытую церковь. Есть несколько даже в самом центре Москвы - ищите. А мы тут пока еще раз все взвесим и решим уже окончательно.

Сколько старых храмов с заржавленными замками на кованых либо тяжелых деревянных дверях с батюшкой, старым другом-писателем, тогда обошли!.. У стен некоторых стояли успевшие потемнеть от непогоды леса; и сквозь давно немые стекла заглядывали то в приделы, а то в примыкающие к церкви помещения старой постройки.

- Ух ты! - радовался я. - Вон сколько места: и посидеть за разговором, как служба кончится, и чаю попить...

- Да нам много и не надо, - тихим голосом рассудительно говорил отец Ярослав. - Лишь бы дело пошло: а там видно будет... А в том, что дело это не то что нужное - необходимое, сомневаться, я думаю, не приходится.

- Да что ты! - горячо откликнулся я. - Что ты. Ну, хорошо, что мне, предположим, есть кому позвонить и прямым текстом о чем-то пока неясном расспросить... Мы же - дикие люди!

- Не только порядок службы или толкование молитв, - включался батюшка. - Как у нас было-то? У «властителей дум». Родился - не крестился, без покаяния помер... Хоть внуков будут приводить окрестить. Хоть самого потом отпоют. А часто мы своих друзей поминаем?

Мы тогда с батюшкой прямо-таки горели этой идеей: создать приход, в котором потихоньку воцерковлялся бы наш брат литератор, еще недавно не помышлявший об этом вообще либо раздумывающий, как правило, в горьком одиночестве... Сам-то я пришел в храм после гибели семилетнего сына Мити. Когда много лет спустя в казачьем землячестве в Москве меня «кликнули» московским атаманом, я был уже горячо убежден, что первоочередная цель того самого «возрождения», в которое почти все мы тогда наивно верили, - воцерковление старших и воспитание в православии детишек наших и внуков... Стали приезжать из-за рубежа потомки казачьих эмигрантов, и, глядя на них, постоянно убеждался в своей правоте: все они, поголовно все выжили в дальних чужих краях благодаря сокровенной, истовой вере...

Но у кого иной, нежели у меня, опыт? Кто все стесняется перекреститься, кто не знает, как свечку в церкви в память горячо веровавших своих предков поставить?

Как будущему настоятелю, самому отцу Ярославу лишний раз было неудобно появляться у владыки Арсения - надоедать ему взялся я. И то, это ведь не какая-нибудь тебе провинциальная епархия, где личной встречи с епископом будешь добиваться и один, и два месяца... В Чистый переулочек пришел с книжечкой либо с журналом, высидел в очереди

не такие уж бесконечные два или три часа, и - пожалуйста. По нашим временам - вообще удивительное дело. Но это так!

В последний раз, правда, владыка, у которого я к тому времени был «в печенках», выглянув из кабинета и увидев меня, стал отмахиваться на самый мирской манер, что называется.

- Некогда, Гарик! - громко воскликнул. - Некогда!

И ведь прав был наверняка!

Мы-то по своей горячей неопытности чего только, неопиты, не напридумываем!

А мудрый владыка наверняка рассудил в конце-то концов: церковь, святое-то это место, - последнее, из-за чего эта оглашенная публика меж собой не дралась или хотя бы не скандалила, чего не делили и друг у дружки не отымали литературные братья-разбойнички... эх!

Но в составлении синодика я теперь был свободен... «Пушкинские горы»! - вдруг пришло. Поэма давно покойного Александра Ивановича Смердова... Добрейший был и деликатнейший человек, приезжал к нам сразу после своего соборства от «Литературки» в Китае, уже корреспондентом по Сибири - в пятьдесят девятом на нашем Запсибе еще и конь не валялся, но как ласково и достойно обо всех нас, терпеливо ждущих большого дела, он написал, сколько раз потом в Новокузнецк возвращался, как над нами над всеми шефствовал, когда стал главным редактором «Сибирских огней», сколько лично мне добра сделал... тоже раб Божий Александр. Поэма была без всякой политизации, без Ленина-Сталина, без Хрущева, без Брежнева: о том, как солдат носил в вещмешке томик Пушкина, как читал стихи своим товарищам перед боем за Святогорский монастырь, как похоронили его потом неподалеку от пушкинской могилы...

Скорей туда! Своей рукою вынуть

Из-под могилы вражескую мину.

Сорвав пилотку, преклонить колена

Перед святыней русскою нетленной...

Это после уже, годков семь-восемь назад, в Краснодаре на одном из казачьих сборов меня познакомили с пожилым, совсем сухоньким, но молодцом державшимся дедком из Псебая, и я спросил его:

- Говорят, вы разминировали могилу Александра Сергеевича в Святогорском монастыре?

Вокруг нас толпились люди в парадных черкесках с газырями на цепочках, в голубых и алых бешметах, высоких горских папахах или заломленных лихо низеньких «кубанках»: по случаю праздника «причеченились», как издавна выражаются на Кубани, и совсем молодые, и чуть постарше них, и - куда, куда старше... Собеседник мой был далеко не в новом, как говорится, цивильном платье, но что-то в нем, не в пример остальным, выдавало давнюю «солдатскую косточку».

Он и ответил на воинский лад:

- Так точно. В один момент!

Я как бы включился в игру:

- Прямо-таки - в один?

- Да я ж ее, когда отступали, и минировал! - с полунасмешливой лихостью доложил мой земляк. - Приказ есть приказ!.. Говорили, что немцы обязательно вывезут прах, а мы не успели...

Что тут теперь и от кого узнаешь: недаром говорится, что первой на войне погибает правда.

Сколько я потом собирался съездить к нему в Псебай: у них там собиралось и до сих пор, наверное, собирается литературное общество «Зеленая лампа», хотя сам старый казак, передавали мне, в последнее время сильно прибалывал... И сколько раз потом, размышляя о нашем коротком разговоре, который перебил тогда регламентом торжества - отмечали, по-моему, годовщину одной из многочисленных наших побед «над турком», - думал и с запоздалым страхом, чуть не с ужасом, и с благодарностью: отвел Господь кубанское казачество от подневольного позора, отвел!

А ну, случись взрыв?!

«Видел я берега Кубани и сторожевые станицы, любовался нашими казаками».

«От благодарных кубанцев», да. Какими глазами, как в наших краях говорят, смотрели бы мы на эту надпись на постаменте памятника Александру Сергеевичу, который стоит теперь в Краснодаре перед библиотекой его имени?

- Сам понимаешь, что я не специалист, но тут глубоко копать и не надо, лежит на поверхности, - разговорился однажды глава кубанского землячества в Москве Николай Яковлевич Голубь, ревностный почитатель поэзии Пушкина. - Какой у

него один из самых первых стихов? «Казак»!.. Денис его звать, «хват Денис» - может, помнишь?.. Ну, это ясно: к казачьей славе война с французом добавила партизанской славы: понятно, что это в честь Дениса Давыдова. А дальше?.. В четырнадцатом году ему всего пятнадцать, а он - может, помнишь: «...бутылки, рюмки разобьем за здоровье Платова, в казачью шапку пунш нальем...»? Как тебе? А в «Послании к Юдину», которое ты, как квасной патриот Захарова, любишь цитировать?.. Где он в мечтах-то посреди воинского стана - рядом с «седым усатым казаком». Ну, так же ведь?

- Так, - пришлось согласиться. - Все так... и что?

- Да то, что казаки у него - как первая любовь! - с уверенностью наставника сказал Голубь. - И через всю поэзию... до конца. Просто никто из видных исследователей, из академиков, об этом, по-моему, не писал. Казачья тема, что там ни говори, была сперва под запретом, а после к ней многие относились с явным предубеждением, и по большому счету один только Шолохов и восстал, нарушил этот обет молчания... ну, не так?

И я потом не однажды размышлял: а ведь прав, пожалуй, чего только не повидавший на своем веку, но по-прежнему как мальчишка влюбленный в пушкинскую поэзию кубанский казак Голубь - ведь прав!

Все это, уже не раз передуманное, торопливо проносилось в сознании, когда сидел перед компьютером, набирая печальный список дорогих мне имен, следующий сразу за синодиком ближайшего окружения Пушкина... Сколько уже ушло, сколько!.. И стал вдруг осознавать, что в размышлении о них, как бы в безмолвной беседе с ними, провожу теперь времени куда больше, чем в общении с теми, кто жив, что с ушедшими мне куда интересней, вот ведь какое дело!..

Вспомнил задушевного друга Сашу Плитченко, тоже одного из подшефных Александра Смердова, младшего его новосибирского соратника, на чьи письма, все больше в стихах, так часто и тут и там натыкаюсь в своих архивах... Никак не удосужусь собрать воедино: как мы богаты и, выходит, как небрежительны!.. Вспомнил общего с Сашей товарища - Геннадия Заволокина, обнявшего меня после речи о нем на концерте в Новокузнецке в последний его приезд: Геннадий-то Дмитрич - не поэт!?

Но тут же пришло: что это, братец мой, все больше - о новосибирцах? А где же твоя творческая-то родина - соседний с Новосибирском Кузбасс? И пошло одно за другим: страдалец Саня Волошин, незабвенный Никитич наш, три дня после получения Сталинской премии за «Землю Кузнецкую» добравшийся от столичной гостиницы «Москва» до Казанского вокзала. В каждом мало-мальски приметном кабаке по дороге щедро поил и кормил простой московский люд - мы ли не сибиряки?!.. Но настучали на Александра Никитича: на фронте при вступлении в партию скрыл, такой-сякой, что он не кто-нибудь - «поповский сынок». И запил Александр Никитич вглубую: уже в одиночестве.

А Женька Буравель? Поэт Буравлев Евгений Сергеевич, бывший штрафник и сиделец после войны, неизвестно чем больше в Кузбассе прославившийся: что создал и возглавил писательскую организацию или что на таежной тропе

завалил ножом вышедшего навстречу матерого медведя?..

А мирный, всегда ласково-печальный Виталий Михайлович Рехлов, вечно сидевший у раскрытого на шумную кемеровскую улицу окна инвалид с безжизненными, ногами: первый написал достойную книжку об открывателе кузнецких богатств Михайле Волкове...

А Геннадий Модестович Молоствов, гусар и ерник, - еще в шестидесятом написал мне на своей книге: «Гаря! Уважаю в тебе непокорность». Ну, как ему теперь должно не воздать, полковнику внешней разведки, всю войну проведенную в Штатах, аналитику и, выходит, - провидцу... Правда, тут же полковник и «скиксовал», не удержавшись следом добавить: «Пиши, как я пишу». Грехи наши!.. Ну, как же на это можно надеяться - при вычисленном еще тогда непокорстве?!

По старшинству лет пошли потом родные братья Банниковы: живший в Кемерово младший, почти бессменный директор книжного издательства, в добрые дни - отец родной и кормилец, в худые - «хромой бес» Виталий, и столичный житель Николай Васильевич Банников, блестящий переводчик, выпустивший знаменитые, знакомые по тому времени книги Ирвинга Стоуна: «Моряк в седле» - о Джеке Лондоне и «Жажда жизни» - о Ван Гоге.

И радостно, и печально было думать, что высокоинтеллектуальное его творчество подпитывалось в том числе и нашей сибирской черемшой - «колбой», в просторечии старых кузнецан - «килобздой», которую я сумками привозил ему в Москву от братика Вити...

А прекрасный кемеровский поэт Игорь Киселев, стихи которого сделали бы честь любому столичному витии?..

А Толя Соболев, с которым нас в один день приняли в Союз писателей еще в 64-м?.. Я-то по сравнению с ним был щенок: раб Божий Анатолий успел захватить войну, был водолазом, и написал потом сдержанные и правдивые книги: «Безумству храбрых», «Награде не подлежит...». Недаром он дружил потом и с Виктором Петровичем Астафьевым, и с Василием Быковым...

А Гена Емельянов, наш вроде бы беспутный, как многие считают, Геннаша, общий учитель наш, который и меня жучил в многотиражке на Запсибе, и переписал за Толю первые его военные «опыты»... Как хорошо-то, подумал теперь, что уже в конце жизни мы с Анатолием Ябровым, великолепным, по большому счету, прозаиком, и с поэтессой Любой Никоновой, которая тоже даст фору не только сибирякам, чуть ли не затащили Геннадия Арсентьевича в нашу Спасо-Преображенскую церковь в Старокузнецке и чуть не силком окрестили... Скольким он, и правда что, совершенно бескорыстно и самоотверженно помогал!.. Зачтется?

Обратил тот самый «мысленный взор» на родную Кубань и записал в поминальник двух смертельных врагов: Владимира Алексеевича Монастырева, твердого мужичка, служившего во время войны в «дивизионке» у казачков-пластунов... Боксера с бульдожьей челюстью: «Говоришь, Поженян?.. А ты спроси у Василь Михалыча Сухаревича, как

я у него на диване Григора твоего чуть ли не одной рукой укладывал, ты спроси!»

Толя Знаменский, Анатолий Дмитрич, во время войны отбывал десятку свою в «Ухтпечлаге», работал, еще ни о чем не ведая, в бригаде у сына командарма Миронова, о котором он напишет потом снабженный множеством ссылок на документы - так боялся, не пропустит цензура! - кровотокающий роман «Красный дни»... Толя, Толя!.. Может, оттуда у тебя, из лагерей, излишняя почтительность и перед фронтовиком-окопником Астафьевым, нет-нет да баловавшим тебя коротким письмишком, и перед артиллерийским офицером Бондаревым...

В «перделкинской» столовой, извинившись, ты подсел к Трифонову за столик, разложил фотографии и за пять минут, еще не остывшему от романа «Старик», рассказал Юрию Валентиновичу о нем самом столько, что одному ему копать бы и копать, думать и думать...

Спасибо тебе, как и Монастыреву, за все!..

С Маркосянцем Сергеем, бывшим разведчиком, написавшим роман «Не пыли, пехота!» (так с издевкой кричали «верхами» обгоняющие «пехтуру» по грязи, по непролазной, казачки), тихой осенью разговорились однажды, идучи по главной улице, по Красной, и он вдруг покаялся:

- Не дай, Бог, не дай: так с дружками набрался ее, проклятой, что очнулся где-то уже на окраине: на спине лежу под колючей проволокой. А дальше - уже на автомате: руками разорвал, пополз по бетону... Хорошо, часового не было - и без ножа уговорил бы. Очнулся уже в кабине истребителя... военный аэродром, представляешь? Оттуда меня охрана и вытащила... письмо в крайком и так далее... можешь представить?

Они-то пострадались: воевали... А мы?

Профессор Литературного института Борис Леонов, старый шутник, вместе с которым паримся в Астраханских банях, среди других баек опубликовал якобы мой рассказ о Павле Мелехине, из которого я узнал достаточно много нового... Не удержавшись, - со всеми нами бывает! - «Борлеон» в одно собрал многое, несправедливое, к сожалению, в том числе, что о несчастном Паше в Москве рассказывают. Что правда - я знал его больше некоторых других, и не потому, что он «часто приезжал ко мне в Кузнецк, где я работал»... Приехал с письмом закадычного дружка и однокашника моего Олега Дмитриева, подвизавшегося тогда в отделе поэзии журнала «Юность», и прожил на стройке никак не меньше трех лет. Работником он был дельным, но и выпивал с не меньшей, чем статьи писал, страстью. И коли самому пришлось бы о Паше рассказывать, вспомнил бы: Ваня Ежиков, тоже «литсотрудник» и друг Мелехина (как можно бы справедливо сказать - «по этому делу»), каждое утро появлялся в нашей редакции «Металлургстрой» с фингалом под глазом. «Ты что, Ваня, регулярно его подновляешь?» - спросил его однажды. «Да почти так! - согласился простодушный Иван. - Каждый вечер на себе несу Пашку из буфета, укладываю в постель, но напоследок он всякий раз вскидывает ногу и бьет

меня ботинком!»

Само собой, что однажды мне это надоело, и я сказал Ежикову:

- Ваня!.. Хочешь, я приказ по редакции напишу?.. Еще раз ударит - врежь ему так, чтобы наутро бланш не у тебя был - у него!

И Ваня сделал страдальческое лицо:

- Не могу, шеф: тала-а-ант!

Но ведь правда!

Они учились в Литературном в одно время с Николаем Рубцовым и на пирушках с чтением стихов, на поэтических турнирах в «общаге» выбирали «королем» не тихого Рубцова - выбрали напористого Мелехина.

Нет-нет да всплывет в памяти то одна его строка, то другая... Вот - «молний белая игла май на июнь перешивает»... А вот - «Видишь: руки знаком равенства я тяну к тебе свои...». А четверостишия, которые цитирую к случаю: «Я с татаркой живу...» (ох, у нее-то в буфете, у Розы, и засиживались Павлик с Иваном)... так вот: «Я с татаркой живу. На двоих все у нас - ликованье и лихо. Я не мщу ей за предков моих, за татаро-монгольское иго». Попробуйте о наших отношениях с татарами сказать мудрее и проще!

Вспоминаешь частенько хлесткое Пашино: «Покороче! Нечего размазывать. Сделай милость, милый, - не тяни. Русь смела за титулы Романовых: были слишком длинными они!»

Вспоминаешь и горько думаешь: как бездарно мы эти «длинноты» укоротили!

Не это ли нас с тех пор и гнетет?..

Или точно так же угнетало всех и всегда, у всякого века были свои несправедливости - вспомним самого Александра Сергеевича, - но в том-то и суть: кто и как мог над ними возвыситься - ради служения Отечеству.

С печалью думаешь, правда, что легкокрылый бог вина Бахус в результате всякого рода исторических и бытовых превращений стал нынче в России тяжелоногим богом сорокаградусной: Бухасом... Скольких он увел, скольких!

Из моего синодика - также...

А как читал Пушкина тесть поэта Сережи Дрофенко, Дмитрий Николаевич Журавлев, народный артист!

У себя дома, бывало, - тоже.

И слышу его до сих пор, и - вижу.

Не то что повзрослев - начавши стареть, хоть я по себе этого - спаси, Господи! - ни разу еще не ощутил, разве что в госпитале, куда строго-настрога запретил приходить жене, после гибели Мити не переносившей вида больницы, услышал вдруг о себе жалостное: «бесхозный дедушка», - так вот, начавши по причине продолжительности времени кое-что понимать, теперь я уверен, что Дмитрий Николаевич потому и был так сокровенен в декламации Пушкина, что перед этим в него вдумался: словно в тайну проник. Начиная в одиночестве сперва негромко читать что-либо «пушкинское» где-нибудь в осеннем саду, когда из села, из Кобякова, съехали дачники с детьми, стало тихо, я вдруг ловлю в своем голосе интонации Журавлева... но, может, так и должно быть? Как уникален Пушкин, так уникальна однажды постигнувшая хоть что-то от его тайны интонация... какие могут быть разночтения?

Придется снова поминать, будем живы, и Александра Сергеевича, и тех, кто шел в моем списочке вслед за ним, - непременно внесу в него Дмитрия Николаевича, светлая ему память... Может, и правда, нужен все-таки этот церковный приход, о котором еще недавно так заботился отец Ярослав - Слава Шипов? Может, сумеем мы все-таки, народные-то заступники, преодолеть «рознь мира сего» - перед возможностью жизни вечной, как и пред адским пламенем, мы все равны.

...А тогда мы с единственным нынче у меня, оставшимся из троих, сыном, с Георгием, приехали в монастырь, он проводил меня в Рождество-Богородицкую - как в родной моей станице, спаси, Господи! - церковь, нашел уже ожидавшего отца Андроника, сказал торопливо:

- Извини, батя, дела: приеду за тобой через час или полтора...

Панихиду отец Андроник проводил в притворе, в левой части, перед кануном, где дотлевали всего три-четыре поминальные свечи: день был будний. Зажег несколько своих, батюшка начал, и тут же вокруг стали собираться добрые люди.

- По кому панихида? - тихонько спросил меня высокий и симпатичный молодой человек с косичкой, перехваченной ленточкой на затылке, как узнал потом, путешествующий по святым местам батюшка из сибирской глубинки.

- По Пушкину, - ответил тихонько.

- Как хорошо - сподобился! - сказал он искренним, счастливым голосом и примолк, истово крестясь.

Со светлым ликом и горящими глазами простоял до конца - невольно я все думал: уже одного его хватило бы, все сразу уразумевшего и по чину все радостно совершавшего.

Но подходили еще люди, постепенно подходили.

- Кого поминают?

- Пушкина.

- А кто он был?

- Как - кто?.. Поэт наш. Александр.

- Ты бы и говорили...

- Так и сказал!

С подобающей панихиде печальной однотонностью отец Андроник для начала читал в моем синодике имена вместе с фамилиями, и мне теперь - как бы уже со стороны - странно было слышать их вместе... Александр Пушкин... Александр Свердлов... Александр Кухно... Олег Павловский... Олег Дмитриев... Сергей Дрофенко... Николай Тряпкин... Василий Росляков... Юрий-Георгий Казаков... Георгий Семенов... Владислав Егоров... Филипп Сафонов... это Эрик-то, окрестившийся Эрнст. Ладно - Борис Ракицкий, великолепный график из Питера, как сам говорить любил, кузнечанин родом...

Борис, Борис! Приехал к нему однажды в Питер, пошли в баньку вместе с девяностолетним тогда художником Валентином Ивановичем Курдовым, мэтром, классиком, и я попробовал поддержать его, когда после парилочки он стал на ступеньку железной лестнички к бассейну с ледяной водой... Валентин Иваныч вырвал руку, упрямо шагнул сам, а Боря попрдержал меня внизу:

- Что ты!.. Это - Курдов! Отмечали его девяностолетие, начальство ждет за столом, а старика нет и нет. Где?.. А в этот день была выставка собак, и его псина получила золотую медаль - остался там на банкете...

А?!

Но при чем тут вдруг - Станислав Поздеев?.. Самый верный мой, самый преданный друг сибирской молодости. При чем - Феодор Некрасов, Некрасов Федя, главный врач санэпидстанции в нашей станице, в Отрадной, однокашник - мы все кто куда разъехались, а он столько лет выслушивал жалобы наших оставленных в одиночестве матерей и помогал им как мог...

Может быть, даже неприлично поминать их заодно с Пушкиным?

Или, испытавший столько предательства, он бы понял, он бы простил... да почему - «бы»?

Понимает наверняка.

Там.

Прощает.

А может быть, этому больше всего-то и радуется?

- ...яко Ты еси воскресение и живот и покой усопшего раба Твоего приснопоминаемого Александра, - тянул отец Андроник, - и всех zde ныне поминаемых православных христиан...

Не отдавая себе отчета, все пытался всмотреться в лицо батюшки: что же это в нем как будто сибирское... бурят? Или кавказское... ногаец? Ногай, как раньше.

- Воистину суета всяческая, - растягивал монах, - жития же сень и соня, ибо все мятется всяк земнородный, яко же рече писание: егда мир приобрящем, тогда во гроб вселимся, еже вкупе царие и нищие...

Цари и нищие, так, так... Но если бы это было понятно царям при жизни!

Истово молился батюшка из сибирской провинции.

С ясно обозначенным на лице пониманием всей важности момента осенял себя крестом этот, который спрашивал сперва: а кто это - Пушкин? Кем был?

Справа за плечом у себя увидел буднично перекрестившегося сына, Георгия: читает «Часы», читает «Апостол» в церкви

Успения рядом с монастырем, у отца Иеронима: что для меня - высокотожественная минута, для него - как бы рутина...

Только-только окончилась панихида, деловито взял меня за локоть:

- Отвезу, па?.. Понимаешь: опаздываю.

- Конечно, - сказал я, - спасибо, что ты...

Автобуса не дождешься, а пятнадцать километров в холод топтать пешком...

- Слушай! - остановил его, когда, поблагодарив батюшку, мы уже спешили за ворота, к машине. - Отец Андроник, он - кто?

- В смысле? - на мой манер спросил сын.

- Я все смотрел: то ли ногаец...

- Калмык, - коротко ответил Георгий, хорошо знавший монастырскую братию.

- Калмы-ык? - удивился я.

- «Друг степей», па, - сказал он все так же буднично. - Разве должно было быть иначе?

Жук подмосковный

Спешил к электричке, которая отходит от Скоротова в шесть пятьдесят...

Побегать по Москве предстояло достаточно, надел легкие полуспортивные туфли и на единственной в наших Кобяках улице старательно обходил острые камешки, но когда свернул на тропу через поле, понял, что, пожалуй, попался: сквозь мелкие дырочки от носка до подъема туг же просочилась холоднющая роса - пока до станции дойду, в обувке будет хлопать, джинсы до колен вымокнут... Но что делать?

Еще не так давно для меня оставалось загадкой: почему это приличным людям всегда удается появиться в каком-нибудь благородном собрании в сверкающих башмаках, а мне - ну, никогда! Ухаживать за обувью не только умею - люблю. Крем, щетки, касторовое какое-нибудь масло, бархатные тряпицы - все это у меня есть. Начищу - залюбуюсь.

Но стоит спуститься в метро, как в покачившемся вагоне почти тут же кто-нибудь да наступит на ногу - ну, будто для этого его специально наняли!

Как удастся избежать этой участи счастливицам, которым эта проблема, судя по всему, незнакома?

И только потом я понял: да ведь «приличные люди» в метро не шастают - к парадным подъездам подкатывают в персональных либо личных автомобилях...

Так и тут: разве приличный человек в электричке ездит, разве на станцию через лес бежит?

Уж в крайнем случае кто-то да отвезет его.

Но эти сутки сын дежурит в больнице... И даже когда не дежурит, стараюсь поменьше гонять его по мелочам: при всех сложностях нашей нынешней жизни ему только этого, как говорится, и не хватает...

Та-ак: носки уже насквозь, джинсы внизу из голубых превратились в темно-синие, еще бы - травища в этом году на поле выдула!

Теперь тут никто не косит, коровы ее не топчут - перевели коров, а удобрений в земле еще на добрый десяток лет: совхоз недаром считался передовым.

Красотища, конечно, кругом - красотища...

В начале июня, шестого, в день рождения Пушкина, шел через поле, чтобы две остановки проехать до Захарова, где Александр Сергеевич каждое лето живал мальчишкой: от благословенных шести и до двенадцати лет. Стояла самая пора цветения одуванчиков, поле было под утренним солнцем - сплошная яркая желтизна, окаймленная по краям сочной зеленью леса...

Потом поле почти разом побелело, и через неделю-полторы на станции я долго обирал со штанов крошечные мокрые зонтики...

Что делать, в самом деле, что делать? Цитировать своего кунака-черкеса? Который в своем романе, как раз о Пушкине, на разные лады с горечью повторял слова, некогда сказанные Александром Сергеевичем: «Какая жизнь с пера?..»

Вот и приходится московскую квартиру сдавать: детям старых знакомых. Но как иначе выжить не модному, не обогретому лучами славы... не привыкшему - вот что, может, самое главное! - заглядывать в рот людям влиятельным: и

тогда, и нынче - всегда.

«Ничава!» - как говорил один из старых моих сибирских друзей. - «Ничава!»

Тем более красота такая вокруг... Да не только в ней дело!

Захарово, о котором неожиданно припоминаешь еще на тропинке к станции и непременно потом, когда всего-то через одну остановку от нашего Скоротова электричка притыкается к платформе, за которой, скрытое леском, лежит знаменитое «селенье» - Захарово сперва только добавило любви к чудным звенигородским местам, но постепенно стало как бы первопричиной этой любви: одухотворившей ее, освятившей высоким смыслом...

Вот только бы ноги уж слишком сильно не промочить, хватит того, что в электричке продуло, шею теперь не могу повернуть...

Поле кончилось, бросился через лес, и уже на путях, на рельсах осматриваясь, увидел, как бока моих джинсов покрыты густым налетом пыльцы, а черная сумка на боку вся серая.

Тимофеевка (так и хочется добавить из школьного учебника луговая) стояла чуть не по грудь, на быстром ходу стремительно разрезал ее, нависшую с двух сторон, а она в ответ меня охлестывала... В самой поре опыления.

Взялся отряхивать штаны, сбивать матовый налет... и тут вспомнил!

В печальном рассказе «Отец», который написал в семьдесят шестом году, сразу после его смерти, есть строчки о том, как он насмешничал над моими усами, когда впервые увидел их: «Усы-усы, чебоксары, захотелось вам в гусары?..»

Приехавший тогда из Новокузнецка, «города угля и стали», из своей черной от копоти Кузни, я принялся обходить двор отчего дома, наш сад-огород: это был своего рода ритуал. Нюхал цветы, их много росло у мамы, считалась одной из самых известных в станице «цветошниц»... К иным наклонялся, едва не становясь на колени, другие, стоя в полный рост, пригибал - разноцветки, хорошо помню, вымахали в тот год прямо богатырские. И вот когда я все это мамино цветочное царство обнюхал-перечеловал, обнаружил вдруг на усах чуть ли не слой пыльцы... Как шмель, подумал. Как жук! Прodelал их сладкую работу... Это сколько, любопытно, в тот день всяких цветиков-цветочков, всяких травок-муравок я опылил?

И вот теперь пыльца по бокам, на животе, на ногах...

Опять как жук.

Только в другом краю.

Отчий дом, с порога которого в хорошую погоду видать ранним утром розовую макушку Эльбруса, черкесской горы Ошхомахо, остался, так вышло, у чужих людей, тоже его теперь сдают квартирантам, даже не знаю, кто там нынче живет... Все чаще говорю себе: единственное на земле родное нынче для тебя место - изба в Кобякове.

Сам когда-то в любимом романе «Вороной...» предрекал: «Уехал казак на чужбину далеко, ему не вернуться в родительский дом!..»

Сбылось.

Теперь ты - жук подмосковный...

Жук.

Мы ведь и в самом деле Жуки - по прадеду с маминой стороны.

Тоже об этом уже писал. Когда в 59-м - как давно! - сказал дома, что по собственной просьбе получил распределение в Сибирь, Татьяна Алексеевна, прабабушка, обрадовалась:

- И хорошо. Найдешь, наконец, там наших. Жуков. Я была двенадцатая, я - последняя, а восемь старших, когда заселяли Сибирь, туда тронули. И ни слуху от них ни духу... А ты теперь их поищешь.

Я чуть ли не возмутился:

- Как я их, бабушка, искать буду? Сибирь-то - большая!

Сказала коротко:

- Захочешь - найдешь.

Но, видно, я так и не захотел.

Лишь годы и годы спустя, когда в Октябрьской, «самой демократической» на ту пору в столице районной администрации - Илью Заславского с его костылями, может, помните? - я, мифический атаман Московского землячества казаков, тоже факир на час, пытался зарегистрировать редакционную коллегия «Казачьей энциклопедии», мне помог

некто Жуков, один из замов Заславского, который тогда и рассказал, что под Томском есть железнодорожный поселок, населенный почти сплошь Жуковыми... Это-то - железнодорожный поселок - больше всего меня и уверило, что там скопилась далекая родня... Ну, скифы мы, скифы. В переводе со старого - скитальцы.

Мысль об этом я потом подарил - а вернее, за мизерную цену продал - знаменитому оружейному конструктору Калашникову, когда помогал ему сочинять его книгу «От чужого порога до Спасских ворот»... Его родители во времена столыпинских реформ тоже уехали в Сибирь из нашей Отрадной, может быть, с Жуковыми в одном составе - с молотилками и лошадьми - туда ехали? А в Новониколаевске - теперешнем Новосибирске - уже на своих подводах кто куда тронули... Его родители - на Алтай, а наши Жуки - под Томск...

А я, значит, приземлился в Подмоскowie.

Тоже во времена реформ.

Уже - горбачевских.

Уже - ельцинских...

...Почему-то вдруг вспомнил Женю Дробязина, блестящего графика, мастера-оформителя из художественной редакции издательства «Советский писатель», в котором я тогда заведовал редакцией русской прозы... Вышло, что мы с ним подружились, иногда, чтобы поболтать, стали задерживаться, и как-то я сказал:

- Есть в тебе какая-то тайна, Женьк. Как бы загадка, извини... хрестоматийная для издательства несговорчивость. С одной стороны. И чуть не детская доброта - с другой...

Усмехнувшись, он вдруг сказал:

- Народовольцы мы. По предкам. Ну, и охотятся до сих пор. Органы. Не поверишь: охранка как будто передала им нас... Она - еще за нашими дедами, энкавэдэ потом - за родителями, кагэбэ - за нами. Ну да, терпим. Забегаются. Если уж те забегались, эти - давно...

Человек он, и правда что, был необычный.

Как-то узнали, что несколько лет, во время отпусков в одном из причерноморских городов строил своими руками яхту, обогнал, когда вышел на ней, пограничные катера, якобы хотел уйти за границу, и выпутаться из этой истории помог ему какой-то очень серьезный чин, которому он потом задешево эту яхту продал.

- Какая, к херам, заграница? - переспросил Женька, когда я попытался обо всем этом хоть что-то узнать. - У нас есть Родина - разве не так? Как в том анекдоте про двух глистов, про папу и сынка, помнишь?.. Просто хотел показать им: они - никто.

Это после разговоров с ним я стал вдруг складывать: и что фамилия мамы - Лизогуб. И что они - народовольцы тоже, один из Лизогубов теперь уже не помню кто, казнен был, по-моему, в одесской тюрьме.

Вроде бы: при чем тут? Откуда?!..

Но о чем не подумаешь, когда тебе вдруг, да что там - тебе, народу, волю которого хотели тогда народовольцы якобы выразить, нет теперь хода ни туда, ни сюда, и только малая тропка среди тимофеевки луговой и осталась?

Но, может, все же забегаются?

Те, кто окучивает нынче весь мир.

Всех нас - вкупе с теми самыми органами, строго надзиравшими за нами прежде и продолжающими это теперь.

Забегаются.

Даже на этой короткой тропе...

Я, почтовая лошадь...

Это Александр Сергеевич так сказал: «Переводчики - почтовые лошади просвещения». И я себя часто, очень часто явственно ощущаю такой лошадью: особенно когда спешу на электричку через поле и через лес с тяжелой сумкой, в которой лежат пять-шесть тоненьких книжек адыгейского кунака и два комплекта собственного четырехтомника... ну, чтобы доказать, кому вдруг придется это доказывать, что переводчик - не последний русский прозаик, нет, вот почитайте, мол, убедитесь!

В сумке еще и зонтик, фугляр с очками и ручкой, толстый блокнот и шоколадка «Альпенголд», самая нынче дешевая: «завтрак пилота», как мы привыкли называть это с новокузнецким водителем Сашей, с которым как-то пришлось долго колесить по всему югу Кузбасса.

На самом деле - обед.

Вообще-то для меня таскать - бывает, целыми днями - такую тяжесть - все равно что самому себе выписывать направление в хирургическое отделение какой-нибудь близлежащей больнички, скорее всего, само собою, - звенигородской, где начинал практиковать Антон Павлович Чехов... Уж он бы меня, конечно, понял: два десятка лет назад ушили грыжу в правом паху, и после того я снова долгонько пахал как конь, но вот недавно после жестокой операции аденомы, сколько надлежало, не поберегся, - как оно это при нашей жизни - беречься целых полгода? - и слева тоже появился тугой шишак с половину гусиного яйца: известное дело, что это такое, уже проходили...

Но как быть, если пушкинский праздник уже на носу, а я так и не могу добиться приглашения для Юнуса?!

Тут удивительная случилась закавыка: чего-чего, а ее я не ожидал.

Один из секретарей Союза писателей России, Николай Переяслов, не только прочитал «Милосердие Черных гор» - уже успел опубликовать на него коротенькую, но доброжелательную и дельную рецензюшку, и когда я спросил его, сможет ли Союз направить в Адыгею ни к чему его не обязывающее письмо - мол, приглашаем Юнуса Чуяко, автора романа о Пушкине, на Пушкинский праздник, но оплатить расходы не сможем - он тут же, как теперь принято говорить, «врubilся»:

- Все правильно: на дорогу там как-нибудь ему наскребут, а тут он будет жить у тебя... Прокормишь друга?

- Обижает, начальник! - сказал я известное.

И Переяслов, прощаясь, руку протянул:

- Готовь письмо!

Ну что, если мы так бедно нынче живем, а голь на выдумки хитра, дело понятное, ну, что делать?!

В том, что моему другу необходимо приехать в Захарово, я не сомневался ни на копейку, и дело даже не в той самой «миссии», о которой когда-то, утешая меня, говорил Петр Васильевич Палиевский и которая для меня, хочешь не хочешь, все продолжалась.

Пушкинское Захарово расположено недалеко от города Одинцово, а кто Одинцово почти семь веков назад основал?

Андрей Иванович Одинец, потомок касожского князя Редеди, того самого, который в Тьмутаракани - в Тамани нынешней, дабы не губить воинов, предложил Мстиславу Удалому решить дело единоборством. «Да аще одолеешь ты, - как повествует об этом летопись, - то возьмишь именье мое и жену моею и дети моею и землю мою, аще ли я одолею, то

возьму твое все».

Князь Мстислав одолел Редедю, условия рыцарского договора были соблюдены, более того - сына Редеди Романа он женил на своей дочери, откуда пошел потом не один знатный на Руси боярский род. Основатель подмосковного Одинцова - выходец из такого рода, славного ратными делами: сын его Александр был боярином Дмитрия Донского.

И что выходит: не только Мстислав забрал тогда у Редеди «именье» и «землю» - так или иначе, Редедя тоже прихватил немножко земли, да где, где!

Но не все так просто в этой давней истории поединка Мстислава Удалого с Редедей...

Помнится, когда около сорока лет назад из Сибири, из Новокузнецка, мы переехали в чистенький уютный Майкоп, один из местных писателей прямо-таки доставал меня, как бы теперь сказали, этой историей.

- А ты знаешь, что Мстислав тогда оказался подлецом, - говорил он мне не раз и не два, глядя на меня так пристально, как будто я состоял тогда у князя в сообщниках. - Они договорились бороться честно, но когда Ридад стал побеждать, ваш Мстислав выхватил нож... Он его предательски убил, ты понимаешь?

После университета я распределился в Сибирь, долго жил интересами «ударной комсомольской стройки», создающей «третью металлургическую базу на востоке страны», меня, как почти всех тогда в рабочем поселке, обижало холодное невнимание Москвы, именно это мы считали предательством, пытались от него отмежеваться и потому-то особенно старались «осибирячиться», ну, прямо-таки «очалдониться» - я, надо сказать, не был теперь готов к высоконаучному спору о деталях единоборства русского и черкесского поединщиков почти что в родных моих краях... Только и того, что помнилась летописная строчка: «и зарезал Редедю пред полками касожскими».

Зарезал и зарезал, дело прошлое!

Но, видать, смотря для кого...

- А ты знаешь, что ваш Мстислав, - в очередной раз наставлял на меня палец настырный защитник национального достоинства черкесов, - когда они вышли бороться с Ридадом...

Очень меня это, признаться, смущало: я, только что вернувшийся как бы домой - сколько там от моей станицы до Майкопа? - начинал ощущать некий комплекс исторической вины перед черкесами, пытался рыться в книгах, обратиться к источникам, но какие тут, в Майкопе, источники, кроме известного и за пределами Адыгеи йодобромного?..

Сам с собой пробовал рассуждать: ну, если условия поединка у всех на виду были нарушены, разве бы согласились

касоги мирно перейти к Мстиславу? Да никогда!

Уж что-что, а это о черкесах я хорошо понимал.

А как этого может не понимать о своем народе адыгейский писатель?

Но он все продолжал донимать меня: до тех пор, пока я не переехал в Краснодар, а потом в Москву.

Много лет спустя блестяще пишущий на русском доктор философии Айтеч Хагуров, насколько изящный, настолько же и глубокий прозаик, в журнале «Кубань» опубликует статью, в которой почти дословно скажет о своем земляке, неггибаемом упрямце, чуть ли не то же самое: «Трудно представить, зная горячую кровь черкес-касогов, чтобы они просто так наблюдали такой поединок и безропотно подчинились его результату. Автор этой версии, выгораживая Рэдэда, кладет черное пятно на касожское войско».

Куда ясней!

Но что меня грело теперь в этой истории - что в Одинцове помнят и чтут отца-основателя города, а ведь от него еле заметная ниточка тянется и к Пушкину: такая тонкая, что разглядеть ее можно только равнодушному сердцу человека особого, поэтического склада, обладающего и высоким воображением, и ясностью мысли...

Может, если попросту, - родной душе?

Знал ли Александр Сергеевич историю Одинцова так же дотошно, как прекрасно знал многие окрестные селения, не знал ли - так или иначе, он вырос на русской земле, одухотворенной и этим - прапамятью касогов... Может, кроме прочего, отсюда его неосознанный интерес к черкесам?

Это мы теперь ничего не знаем о предках своих: первые насельники Одинцова наверняка помнили, кто они и откуда.

Деревья безмолвны и, мы считаем, беспамятны, но не эти ли остатки столь поредевших дубрав, которыми и нынче так в Одинцове гордятся, когда-то прислушивались к разговорам и считывали мысли стародавних насельников?..

Это может показаться фантазией, литературным, чистой водицы вымыслом, но ведь и речь-то идет не о ком-либо - о нашем заглавном литераторе: о Пушкине.

Неужели не понял бы?

Что последние величественные деревья в дубраве недалеко от Захарова, в Одинцове, так похожи на те, которые уже в единственных экземплярах остались там и тут на Кубани и в Закубанье, на те одиночные богатырские дубы, которые коренные, от первых поселенцев, русские не без доли невольного восхищения называют «черкесами», а самые давние тут жители черкесы, как будто в ответ, великанов этих зовут «казаками»...

Разве не радостно Александру Сергеевичу было бы это знать, как не любопытно ли и то, что роман черкеса о нем перевел не кто-нибудь - кубанский казак?

Для кого-то все это, может быть, пустые слова, но сам я глубоко убежден, что существует некая незримая копилка мирного духа, в которой ничто не пропадет, ничто не останется незамеченным, и как это важно - несмотря ни на что, потихоньку пополнять и пополнять ее нынче, когда всеми силами пытаются лишить нас и мира, и духа - и в России вообще, и на Кавказе теперь - особенно.

Да разве кунаку моему не придаст вдохновения, не прибавит уверенности в своевременности, в миротворческом предназначении его романа о Пушкине, если побродит он тут по этим местам: и чисто русским - а где же, как не тут, русский дух, где, как не тут, «Русью пахнет»? - но, выходит, в какой-то мере заодно и - черкесским?

Для меня это было как дважды два, потому-то и хотелось вытащить его из Майкопа на праздник.

Но, может, мне-то оно и понятно оттого, что долго об этом размышлял, а кому-то видится совсем в ином свете...

Письмо подготовил на имя главы правительства Хазрета Хуаде, так с Переясловым договорились. Обращаться к президенту Адыгеи Хазрету Совмену в такой ситуации было бы, прямо скажем, неделикатно: бывший сибирский золотопромышленник, он входит в полусотню самых богатых людей России - и мог бы расценить это как намек на возможное личное участие в поездке Юнуса.

Опустим тут рассуждение о том, какие нынче стали эти полусотни и сотни: само собой, что трудно казаку за эти ласкающие слух отголосками былой славы названия не зацепиться... Сколько раньше-то, любопытно, было в России полусотен, готовых грудью - за родное Отечество? Теперь, хоть и особенная, конечно, но все же полусотня - одна, и Хазрет Совмен, не только поймавший в Сибири фарт, но и лиха хвативший в ней поперх головы, в полусотне этой - как белая ворона: не в пример ему никто из остальных особенно не спешит поделиться с нищими и убогими... Зачем обременять его еще одной, зряшной по сравнению с другими, заботой?

В Союзе писателей, когда показал Переяслову заготовку письма к премьер-министру, он только руками развел:

- Ну, слушай, тут и поправить нечего!

Пришлось без той самой ложной скромности согласиться:

- Старая школа!

Уж каких только писем, кому только, от кого только не пришлось, и действительно, на своем веку сочинить.

- Печатаю на бланке и иду подписывать, - сказал Переяслов. - Посиди пока, полистай журналы.

И тут вдруг я перехватил женский взгляд... Согласитесь, что наш брат, принадлежащий якобы к сильному полу, все-таки не может смотреть с таким глубоко затаенным коварством, какое нет-нет да мелькнет во взгляде у представительницы противоположного якобы слабого пола...

О, эти невольно посылаемые нам глазами знаки, которые так умел разгадывать Александр Сергеевич, веривший и в магнетизм, и во многое другое, что еще недавно мы так категорически отрицали!

Но осознал я это только потом, когда чиновная дама с нарочито деловым видом вышла из кабинета...

Почти тут же вернулся явно огорченный Переяслов:

- Представляешь, что произошло?.. Скорее всего, кто-то из наших, кто перед этим слышал наш разговор, успел позвонить в Майкоп, и оттуда уже был грозный звонок: вроде чуть ли не матом - на крике во всяком случае... Что в Адыгее только один человек мог бы приехать на Пушкинский юбилей, но ему сейчас не до того, а что касается этого Чуяко...

- Знакомо до боли, - сказал я, тут же узнав бескомпромиссный стиль, каким со мною в Майкопе не раз говорили о Мстиславе с Редедей, и назвал имя звонившего: - Он?

- Само собой, - со вздохом согласился Переяслов. И подошел к полупустой урне у стола. - Ты видел: я сделал все, что мог...

Разорвал напечатанное уже на бланке Союза писателей России письмо и мелкие клочки бросил в урну.

- Но ты-то, слава Богу, все понимаешь?

- Конечно! - сказал он горько. - Но тут я бессилен.

Дело вообще-то чрезвычайно любопытное.

Помните ироническую формулировку недавних лет? Мол, в доброе старое время, при проклятом царском режиме...

Не пора ли нам завести теперь новую? «В доброе старое время, при проклятом застое...»

Так вот, те, кто достаточно хорошо был знаком с жизнью писательских организаций Средней Азии или Северного Кавказа «в доброе старое время при проклятом застое», определенно знают, что в большинстве случаев они имели характер восточных деспотий со всеми вытекающими, как говорится, последствиями, в том числе прелестями лизоблюдства, соглядатайства, доносительства и многими другими, какие только изобретет южным солнцем и жаром из-под шашлыков воспаленный ум деспота.

Казалось бы, в наше время смуты и неопределенности именно та часть литературных чиновников, которые называют себя патриотами, должна была бы эти деспотии разрушить в первую очередь, а не нет, нет... Более того! По образу и подобию деспотий стали строиться и столичные писательские сообщества, и руководящий центр - в первую голову. Думаю вот: чем это объяснить? Или многовековой восточный опыт оказался куда надежней и плодотворней не столь богатой истории комсомольской школы, которую прошли многие из нынешних литературных вождей?.. Или они восприняли его на основе неистребимого духовного родства с их былою славной организацией и на нее близкой похожести?

И не надо тут предъявлять встречный иск: чья бы, мол, корова мычала, но твоя, с «ударной комсомольской», молчала... Нет-ка, ребята, как раз - нет.

Как тогда вы продавали нас, мантуливших в сибирской глубинке, - об этом почти все мои книги - точно так теперь наивную литературную провинцию отдали на откуп приплачивающим вам за то деловарам, выжигам и маркитантам, и это - лишь часть правды, всего только верхушка того самого айсберга, который из литературного, художественного давно превратился в чисто коммерческий...

Всего-то несколько лет назад один из моих давних, с ударной стройки, дружков работал в кремлевской администрации, по срочным, по сибирским делам встречались с ним иной раз на Красной площади, и он, только что вышедший из проходной у Спасских ворот, поворачивался к ним спиной, прикрывал ладошкой губы и негромко говорил:

- Собрание бездельников и расхитителей... Ты вот всегда ворчал на комсомольских чиновников, но если бы не мы, которые хоть как-то пытаются теперь организовать этот хаос, все бы, поверь, давно пошло прахом!

Мне радостно было сознавать, что этот бывший бетонщик, бывший комсорг старается в этом бардаке сберечь государственность, но вы-то, протиравшие в столице штаны в креслах идеологических вождей, гордившиеся из-под

полы своим русофильством, - что ж вы-то не поможете теперь сберечь русский дух?

Извини, Александр Сергеевич, - я на адыгейский манер, как кунак мой в своем романе, на «ты», - извини за это печальное отступление, милый АСи, но не должен же я давать в обиду своего простодушного, не прошедшего Крым и Рим кунака - в том и дело, что в наших южных местах узкой дорожкой этой - из Крыма в Рим - ходит непременно один, ходит деспот, и только ему одному, непременно ему, никак не желающему понимать, что прижизненная слава губит посмертную, поют потом столь многих сводящие с ума, убереги нас от них, Господь, медные трубы!..

И вот я, толмач-переводчик, почтовая лошадь просвещения, так бесстыдно в наше время униженная, опущенная, как они теперь говорят, спешу через лес со своею тяжелой торбой... с походным вьюком?

Своими текстами, если в них верим, пророчим себе будущее... Не это ли со мною случилось, когда написал яростный роман «Вороной с походным вьюком» - вот он, мой вьюк!

Пушкинская усадьба в Захарове тоже была осыпана ярко-желтыми одуванами, в самом соку, уже ударившем в первоцвет, стояли отмытые дождями чернствольные липы вокруг новенького дома Ганнибалов, а слева, на долгом спуске к превратившейся в тихие озера реке, замерло белоное березовое царство - все, все тут сияло под солнцем, словно тоже готовилось к дорогому празднику...

Захаровская «пушкинская Татьяна» - Татьяна Петровна, заведомо музея, шла навстречу мне, стоявшему у ворот усадьбы, по аллее, ведущей от мостика через речку...

Слегка припоздавшая на службу, которую в ее положении можно смело назвать служеньем не только оттого, что дело касалось Александра Сергеевича - еще и потому, что на те крохи, которые музею доставались, содержать его почти в идеальном порядке без самоотвержения было бы просто невозможно, так вот, она теперь поспешала, слегка покраснелась и в праздничном платье так была хороша, что у меня вдруг возникло некое ревнивое чувство превосходства перед соседним Хлюпиным, куда, по уверениям моего друга Володи Паялы, тайком приезжал Пушкин из Москвы: чего ему там было делать-то, если в Захарове такие красавицы?

Кому-то покажется, что все пошучиваю, но это надо, пожалуй, видеть, каким особенным светом были озарены в те дни лица музейных служителей «Дома Ганнибалов»!

Были еще и иные причины, по которым Татьяна Петровна задержалась, принаряживаясь, и я их, конечно, тут же и угадал.

- Ждете комиссии?

- Мучают, - откликнулась она, приглашая вслед за собой уже по комнатам внутри дома. - Но терпим, терпим: нет-нет да помогут...

Собралась уже ступить на узкую боковую лестничку в торце, но во мне заговорил старый морской волк:

- Прошу простить, Татьяна Петровна, должен подняться первым: раньше корабельных офицеров, позволивших пропустить даму на трап, списывали на берег...

- Не будем вас подставлять, - охотно включилась она в игру. - Подождете у двери, она пока на замке.

Конечно, обожду!

С чувством исполненного долга: недаром во время недавнего морского похода в Грецию наших десантных кораблей с миротворцами для Косово я, давно седой, с пробоинами на шкуре романтик, сподобился, наконец, запоздавшего больше чем на полвека посвящения в юнги!

- Вы мне что-то обещали, - напомнила Татьяна Петровна, когда уже вслед за нею вошел в крошечный ее уютный кабинетик на самом верху дома, в мансарде.

- Принес! - уверил я ее чуть ли не торопливо. - Как же, принес.

Конечно же, очаровательной даме, ей было неведомо, что к чувству добросердечия и благодарности за гостеприимство в столь дорогом для меня доме, о чем написал ей в дарственной надписи, примешивается еще и долгожданное ощущение, что с каждой выложенной из нее книжкой сумка моя делается все легче... Неужели ударить копытом хочется уже лишь от этой радости?!

Татьяна Петровна собралась было чайком попотчевать, но я отказался: до того ли ей?

Рассказал о несостоявшемся приглашении Союза писателей, и она, уже прочитавшая роман моего друга, прониклась явным сочувствием:

- Разве что нам его пригласить... Вернее, не нам, мы-то всего лишь отдел - основной музей в Вяземах, в Голицыне. Попробуем позвонить Александру Михайловичу, директору... не знакомы с ним?

Сняла трубку, но директора на месте не оказалось.

- Сказали, на территории. Езжайте-ка к нему...

- А он не может в это время уехать?

- Нет-нет, - сказала она уверенно. - Если на территории - это надолго!

В рейсовом «Икарусе» до Голицына меня вдруг тоже охватила предпраздничная «пушкинская» лихорадка... Люди готовятся. А что сам? По давней привычке планировать, хоть твердо знаешь, что сбыться планам не суждено, все равно будут непредсказуемой нашей жизнью переиначены, хотел успеть с циклом этих рассказов, которые так сперва мысленно и назвал: «Я, почтовая лошадь...». Ведь осознал, что он складывается, цикл, когда опять записался в толмачи - перевел Юнусово «Милосердие...». Вот и определился тем самым в конский ряд: для казака - дело как бы вполне понятное.

Но что касается заглавия, потом вдруг пришло: чего якать-то? Собираешься о Пушкине, а в заглавии «я» - при чем тут?!

Нехорошо!

Из конского-то ряда высовываться.

В те дни вдруг однажды и пришло: конечно же, «Вольный горец»! К тому времени это я знал как «Отче наш». Гоголевское: «В Испании он испанец, с греком - грек, на Кавказе - вольный горец в полном смысле этого слова...». Опять же, и Николая Васильевича помяну таким образом: может быть, потомок тех самых «Нимченков», из рода которых был гоголевский слуга Яков... сам объявивший себя «слугой покорным», что это я - исключительно об Александре Сергеевиче, о друге моего досточтимого благодетеля, а о нем самом - нет и нет. Давно пора!

А то и Володя Семенов, прямо-таки живущий своим родством с Ариной Родионовной, уважать меня перестанет.

За непочтительность. За неверность.

И прав будет: уж кого нам и почитать, как не их, когда столько недавно сказанных слов стремительно обесценилось, а произнесенное ими почти два века назад как было золотом, так и осталось...

Вот и закончить бы поскорей, да как при этой бродячей, на три дома, жизни закончишь?.. Главку «Приснопамятный Александр» писал в Подмосковье, хорошо вдруг пошла, а письма из Мостовского остались в Майкопе. Пришлось звонить Овчаренко, просить, чтобы он сходил там в наш - тещин на самом деле - дом, порылся в коробках с моим архивом, который пытаюсь до следующего приезда всякий раз «консервировать»... Пока он собрался, пока нашел там, я уже укатил в Сибирь, потом оно надолго пропало среди бумаг, и вот только на днях, ну, словно само по себе, вновь

объявилось.

Как оно там, в одном из писем: «Насколько понимаю, вы хотели видеть Петра Андреевича Кузнецова, кто из оставшихся немногих саперов 12-й ордена Кутузова инженерно-саперной бригады разминировал заповедник села Михайловское и непосредственно могилу А. С. Пушкина в Святогорском монастыре. Что может быть возвышеннее этих мгновений, связанных с ветераном войны и труда, участником двух войн - с Германией и Японией? Петр Андреевич с Верой Даниловной - супругой, ветераном учительства, уж более не могут как прежде активничать. У первого два инсульта, у второй - онкологическое заболевание. И все же, несмотря на невзгоды, они помогают мне в руководимой мною «Зеленой лампе», которая провела уже 14 заседаний в память об Александре Сергеевиче.

Как было бы хорошо, если бы вы осветили все, что связано духовно-поэтически с гением русскости, славянства, казачества, дружбы народов - А. С. Пушкиным на Кубани».

А подпись-то под письмом! «Заместитель атамана по культуре Мостовской районной казачьей общины, режиссер Центральной клубной системы Семенов Михаил Владимирович».

Мне бы не только «осветить» - все собирался съездить в станицу Мостовскую, чтобы, кроме прочего, уточнить насчет этого минирования-разминирования: тогда-то в Краснодаре мельком поговорили, и все, но в ту пору, в 98-м, у меня и мысли не было об этих моих, связанных с Пушкиным, рассказах!..

Первое письмо отпечатано на совершенно забитой портативной машинке, второе, очень длинное, - от руки: «Есть мысли о встрече с Кубанским университетом. Хотелось бы совершить поездку в Пятигорск в честь 170-летия написания «Путешествия в Арзрум». Только бы не помешали обстоятельства. Обидно, что Москва теряет управление Кавказом. Лишь разумная взаимосвязь народов внутри регионов может спасти положение».

И приписка на поле сбоку, во всю высоту листа: «Не успел отправить письмо, как провел еще ряд заседаний «Зеленой лампы». Сейчас решили высаживать памятные деревья в ауле Ходзь».

И раз, и другой перечитал эти письма, и такое острое возникло чувство горькой вины перед своим земляком из Мостовской!

Сколько длинных и, как мне казалось, убедительных посланий, которые месяцами обдумывал, написал я с тех пор адресатам, от которых, как я полагал, во многом зависела обстановка на Северном Кавказе. Генералу Казанцеву, который руководил тогда Южным федеральным округом, отправил целый трактат об установлении мира бескровными средствами, которые опирались бы на вековые кавказские традиции, на лучшие из обычаев, на то умное и полезное, что имелось и в миротворческом опыте имперской России, и непременно - Советской, авторитет которой по-прежнему на

Кавказе высок...

Не получив ответа, решился вместе с благословлявшим меня на это письмо настоятелем Троицкой церкви в Армавире отцом Сергием, ректором созданного им тут Православного института, отправиться в Ставрополь, где генерал собирался провести встречу духовных лидеров Северного Кавказа... Печальное ощущение осталось от этой встречи, печальное!

Владыка Ставропольский и Бакинский Геден, кубанский казак, после долгого служения в Сибири вернувшийся в родные края, уже был серьезно болен, свойственная ему энергия в тот раз словно покинула его, остальные владыки и муфтии держались, пожалуй, излишне деликатно, зато прямо-таки разгулялись «адвентисты седьмого дня», «христиане-баптисты», «евангелисты-пятидесятники», лютеране... кого только и откуда там не было!

Когда слово дали американцу, «представителю церкви Иисуса Христа святых последних дней по Южному региону», генерал с простодушным удивлением воскликнул:

- Я даже не знал, что у нас на Кавказе столько религий!

Не будем и дальше знать - станет еще больше. «Религий», да.

Уже не только мормоны - скоро, глядишь, и сатанисты заведут в «Южном регионе» свое представительство, только его здесь пока и нет.

Сколько раз останавливали меня в Майкопе на улице симпатичные молодые адыгейцы, начинали заговаривать о близкой кончине мира, и я, заранее знавший, что будет дальше, улыбался и как можно дружелюбней советовал:

- В мечеть, ребята! В мечеть.

- Но мы исповедуем Евангелие! - был обычно ответ, и в тоне сквозила затаенная насмешка надо мной, ретроградом.

- Тогда - в православный храм!

Но нет, нет - звали в «Зал царства Иеговы».

Из-за кочевого своего быта хорошо знаком со многими батюшками не только на Кубани, но и в Сибири, и в Москве, из доверительных, из дружеских бесед хорошо знаю, как тяжело им нынче, когда густой поток нетерпеливых, как почти все мы, невежд заполнил храмы... Сочувствую им, дни и ночи проводящим службу на отекающих ногах, понимаю, что

излишняя полнота их не от хорошей жизни.

Тем печальнее видеть среди них почти откровенных наедателей брюха, спокойно стоящих за церковной оградой и равнодушно взирающих, как чужие проповедники, откуда только в Россию не прилетевшие, доклевывают на улице неприкаянных и обиженных...

И взял я грех на душу: написал обо всем об этом письмо самому Святейшему, Патриарху Московскому и Всея Руси Алексию Второму. Извиняясь за дерзость, сетовал, что в наши места одного за другим присылают «назначенцев», не только не знающих здешних особенностей, но и не желающих их узнать, потому что Северный Кавказ для них - всего лишь «пункт пересадки» перед очередным переводом куда-нибудь, где сегодня куда спокойней...

«Готов принять наказание за ропот, Ваше Святейшество...

Но что делать: мы на Кавказе вновь ощущаем себя как в стародавнем походе.

Нас можно понять: мы - потомки первых в позапрошлом веке кубанских казаков-первопоселенцев, многие из которых со славой сложили тут свои лихие головушки, и нынче мы острее других видим, большее многих остальных чувствуем, как лишается постепенно Россия своего «наборного пояса» - Кавказа. Уже потеряно Закавказье, но разве не трещит по швам - даже там, где на поверхности вроде бы тишь да гладь - Кавказ Северный?»

Сколько времени я провел потом в приемной у владыки Арсения, чтобы это письмо Святейшему передать, сколько потом ждал ответа... До сих пор жду!

Но так и не нашлось у меня одного-двух часов, чтобы ответить Михаилу Владимировичу: все думал как-нибудь заскочить в Мостовскую по дороге в свою родную Отрадную, свалиться как снег на голову... Вышло, что сам себя обманывал?

То-то и печально, что мы, русаки, не так горячо стремимся к национальному единству, а если и стремимся - все больше на словах, не на деле...

Не помню уж теперь, чья это сказка: о том, как злая волшебница обратила в гусенка младшего братца, летал со стайей, а старшая сестрица все ткала и ткала для него рубаху, надев которую, он снова бы сделался мальчиком... И вот опять он должен был улететь, а у рубахи еще не было одного рукава, сестрица накинула на него так, и он превратился в человека, но вместо одной руки у него осталось крыло.

Многое из той сказки давно позабыто, но сестринская тревога не только запомнилась - как будто с каждым днем

становится все острее: не успеваешь, не успеваешь - поторопись!

Не допишешь, не доделаешь, не сможешь, и Россия так и останется без одной руки, без твоей малой родины, без Кавказа...

Но разве не о том же и он думал, сажая «пушкинские» деревья в ауле Ходзь?

Надо, надо поспешить с «Вольным горцем»!

Но как поспешишь, если повторяется история с водой в колодце: чем больше черпаешь, тем щедрей подземные ключи ее отдают...

Только что пришлось побывать в офисе у давнего доброго знакомого, у генерала Кима Цаголова, который был не разлей вода с моим душевным другом, светлая ему память, цирковым наездником Ирбеком Кантемировым, Юрой, Великим Джигитом, о котором уже столько лет тоже вот: пишу и пишу...

Обнялись теперь с Кимом, присели на диване за чайным, похожим на трехногий черкесский анэ, столиком, и я, прекрасно понимавший, что сперва должен отдать должное кавказскому этикету, не торопясь расспросить хозяина о здоровье, делах, о наших общих товарищах, все это знавший, тем не менее, не утерпел, раньше положенной минуты стал оглядываться на висевшие по стенам написанные генералом картины...

Думаю, он мне это нарушение правил охотно простил, мы встали, и я повел себя как своевольный посетитель в музее: что бросилось в глаза, к тому и пошел.

Первой была яркая большая картина, на которой изображен Георгий Победоносец: раньше у генерала ее не видел... Но кому, как не ему, сам Господь Бог велел запечатлеть покровителя его родины, Осетии?! Около десятка лет назад, когда только промелькнуло первое сообщение о явлении святого Георгия в одном из сел, генерал вылетел туда как по тревоге, все многочисленные свидетельства проверял с дотошностью профессионального разведчика с большим опытом - так же, как в Афганистане или потом в горячих, будь они прокляты, точках уже в России.

Некая из многочисленных в ту пору газет-однодневок опубликовала потом нашу с Цаголовым беседу об окончательных выводах генерала - это не миф, не вымысел горячих голов, это было - и я теперь вглядывался в Георгия Победоносца на картине, в этот вроде бы традиционный образ, явно подправленный полуфантастическими чертами «портрета по описанию», которыми столичного аналитика снабдили доверчивые жители кавказской горной глубинки.

На второй, к которой я подошел, большой картине был Пушкин...

Был во весь рост, но окружившие его, как будто нависшие над ним горы, и без того не великана, делали его еще меньше.

- Так видите, Ким Македоныч? - полушутливо, но все-таки как бы иронически обратился к генералу.

Вскинул плечи, слегка отдернул словно выбритую, как у мюридов, крупную голову, прокуренные усы встопорчились, глаза сделались пронзительными.

- А что тут не так? - произнес неговорчиво. - Что - не так?! «Кавказ подо мною!»... Мальчишка еще был и сказал как мальчишка! Что он, поднялся на Казбек? На Эльбрус? А если в переносном смысле: кто ты таков, чтобы он был под тобой, Кавказ?.. Что ты в нем понимаешь?! Нашелся Ермолов! Не он под нами - мы под ним. Под Кавказом. Все!..

- Поставил на место?

- Если хочешь, да! - и тут же сбавил тон: - А что? Стоит на дороге среди гор... Как все мы, когда приезжаем на Кавказ...

А я вдруг спросил:

- С мемуарами идет дело?

- Какие мемуары! - воскликнул он горько. - Закопался в срочных делах...

Сам сперва не понял, почему об этом спросил его, только потом уже, когда мысленно не раз и не два возвращался к нашему разговору - а с таким редким нынче и достаточно откровенным, как генерал, собеседником без этого не обойтись - я вдруг понял, я понял!

Накануне один из старых друзей подарил мне двухтомный свой, в соавторстве, труд под названием «Одинокий царь в Кремле» - о Ельцине, и так вышло, что, еще не начав читать, а только, как всегда по привычке, перед этим перелистывая, первым делом я наткнулся на горькую и прямую, как шпага, недлинную докладную записку на имя Горбачева - от Цаголова из Цхинвали, где тогда шла война... Теперь скорбной этой, столькое предсказавшей, запиской можно гордиться, но как за нее тогда не оторвали голову!

Или кровавая школа Афганистана чего-то да стоит, и правда-матка генерала родом еще и оттуда?

Оттуда мы ушли.

Но не можем же мы уйти с Кавказа, он - наша родина!

Пусть простит меня генерал, доктор философии и глубокий психолог - недаром же не только сидел в Кабуле, но в рваном халате с караванами моджахедов исходил не одну провинцию - так вот, пусть он меня простит и поймет: это запоздалое неприятие пушкинского стиха - оно от нынешних наших поражений, от просчетов не знающих Кавказа наших высоких должностных лиц... А кто виноват?

Да Пушкин, как всегда.

Виноват Пушкин.

Слава богу, что рассказал тут о портрете Александра Сергеевича, написанном знающим наизусть чуть не половину его стихов боевым русским генералом Цаголовым, осетином, - не придется теперь отдельный рассказ писать, но сколько всего так и просится в этот цикл, так и просится, и часто чуть не с тоской мне думается, что ему не будет конца...

Но то-то, пожалуй, и славно, что поэзия Пушкина, проза его, само имя так глубоко вросли не только в нашу культуру - в нашу повседневную жизнь, что попробуй-ка нарочно обойтись без них - и уже ведь не обойдешься!

Как знать: может, стоило бы создать особого рода музей, где были бы собраны свидетельства того, о чем говорю, - сколько бы их и по всей России, и по всему миру нашлось! В том числе и пушкинские портреты, сделанные старыми моими товарищами, профессиональными художниками, и любительский - что там ни говори, у него иная профессия! - цаголовский портрет, и снимок индейского вождя Огненная Кочерга, который, наконец, разыщу я в своих разбросанных на три дома в разных концах страны архивах - да сколько, сколько всего, о чем мы даже не догадываемся, могло бы туда войти!..

Попросил водителя остановиться у поворота к станции, по обочине Можайки, Можайского шоссе, пошел дальше, где за неширокой, покрытой сочной зеленью ложбиной с налитыми частыми дождями всклень блюдцами понизу, на высоком холме проглядывали сквозь купы деревьев белые стены дворцовых корпусов и за ними едва видимые снизу купола церкви Преображения.

Прошел через мостик, по хорошо набитой тропинке поднялся на холм и вышел к ближнему, двухэтажному зданию, около угла которого двигался туда и сюда маленький красный тракторишко и орудовали лопатами возле него двое рабочих.

По старому, приобретенному на сибирской стройке неременному правилу поздоровался, сказал традиционное «Бог в помощь» и пошел к крыльцу, может быть, директор уже вернулся к себе?

Нет, сказала обаятельная, средних лет секретарша, еще на территории. Вызвалась меня проводить, и как только вышли на ступеньки, кивнула на угол, от которого в очередной раз отходил крошечным отвалом утюживший землю тракторишко:

- Александр Михалыч там пока!

Я и в самом деле не понял:

- Который с лопатой, что ли?

- Нет, - сказала она. - Он с ломом.

Вон, оказывается, как это деликатно у них называется! Находиться на территории. Не то что у нас было: упираться.

- Не успеваем! - угадала движение нехитрой моей мысли секретарша. И крикнула с крыльца: - К вам, Александр Михалыч!

- Можете минуты две... ну, пять минут обождать? - попросил директор, когда я ему представился.

- Конечно!

- А то бросать на половине...

Вновь принялся ломом подвигать в рядок тяжелые бетонные плитки под самой стеной здания, и мне захотелось поставить сумку, взять другой, стоявший вприслонку лом... Нельзя, брат, нельзя тебе!

- Вообще-то я человек артельный и с удовольствием помог бы, - сказал с некоторой долей вины.

И этот наш, голицынский, Гейченко - не богатырского росточка, совсем еще молодой - охотно откликнулся:

- Что вы, что вы... Хорошо, что пришли, нам пора и передохнуть... Только еще пять минут!

Нагнулся над очередной плитой, и на фланелевой рубахе в крупную клетку я увидел темный клин пота между лопаток. Не знаю, как для кого, но для меня это всегда было лучшей рекомендацией...

- Может, вы сперва осмотрите дворец? - предложил он. - А мы пока...

Но тут же переменял и этот план:

- Нет. Давай отдохнем. Десять минуток нам для беседы хватит?.. А потом мы опять, а вы дворец и посмотрите...

Очень мне это нравилось: не белоручка.

Вспомнился двухлетней давности разговор с заместителем министра культуры Дементьевой на пушкинском празднике - в селе Петровском, неподалеку от Михайловского, где тогда открывали отреставрированный родовой дом Ганнибалов.

Так вышло, что не раз виделись с Дементьевой и в Сибири, и в Москве, поэтому заговорил с ней как со старой знакомой: мол, не стыдно нам с вами, москвичам?.. Радуемся обновленному виду мемориального комплекса на псковской земле, а тому, что у нас под боком, в сорока километрах от Белокаменной, - чуть ли не ноль внимания. Но где оно начиналось, где зарождалось в Пушкине то великое, чем так гордимся, - не в наших ли подмосковных местах?

Видите ли, ответила Наталья Дмитриевна, здесь так стараются свои музеи поддерживать, что просто грех им не помочь, а нашим с вами землякам в этом смысле пока далеко до здешних радетелей!

Может быть.

Но тоже ведь так стараются!

Даст бог, придет время, придет опыт - это выразится иначе, но пока совсем еще молодой, зато здешний, тоже - здешний, Александр Михайлович Рязанов самоотверженно делает то, что, скорее всего, больше иного - за несколько дней-то до праздника - необходимо.

Понял он меня сразу, как только показал ему черкесский роман о Пушкине. И тут же сказал:

- Ну, не в моих это полномочиях, поймите: письмо на имя премьер-министра республики. Да и мое начальство в районном департаменте культуры скорее всего задумалось бы, тем более там как раз - перемены... Может, это в компетенции Громова - слать такие письма?

- Да он-то как раз обрадовался бы такому письму! - уверил я Александра Михайловича. - Когда-то он в Майкопе служил. В той самой бригаде, которая потом почти вся погибла в Грозном, был командиром полка: перед Афганистаном. В день поминовения погибших в горячих точках непременно шлет в Майкоп телеграмму - это точно, Адыгею он помнит. И она

его не забыла.

- Может, тогда - к нему? - с надеждой спросил директор.

Мне представилось здание бывшего областного Совета на Старой площади, приемная многолетнего его председателя Василия Ивановича Конотопа, в которой не раз приходилось сживать с моими прошениями насчет избы в Кобякове - бумагами каких только влиятельных людей не поддержанными. Несмотря на явное сочувствие Василия Ивановича, так тогда ничего и не вышло, хоть был я в ту пору - надежда русской прозы и крупный литературный чиновник. А кто меня нынче пустит в приемную Громова?

Обширная стоянка возле шестого подъезда, где сидит теперь губернатор Московской области, всегда существовала, нынче она забита «джипами» и «мерседесами», но коновязи для почтовых дилижансов, как и тогда, тут так и не предусмотрено...

- А я все, что могу, как говорится! - дружелюбно говорил молодой директор, разминая затекшие от тяжелого лома пальцы. - Подпишу вам с товарищем приглашения... как его?

Я чуть ли не по слогам повторил, но на всякий случай он развернул «Милосердие Черных гор...», стал подглядывать.

Перестал писать и протянул мне развернутый пригласительный билет на светло-коричневой глянцевой бумаге. «Уважаемый Юнус Гарунович Чуюко!» - от руки было вписано в белый прогал между титулами музея сверху и программой праздника внизу.

Соблюл молодой директор адыге хабзэ, черкесский этикет: первым написал приглашение дальнему гостю... Но, может, он везде один и тот же, этикет: лишь бы люди были хорошие?

Взялся надписывать пригласительный мне, не то что близкому гостю - ближайшему, можно сказать, из Кобякова, а я пока рассматривал то лицевую сторону сложенного вдвое Юнусова билета, а то - обратную...

Рассматривал и потихоньку посмеивался.

На лицевой стороне изображен был взятый со старинной гравюры примерно тот самый вид музейного комплекса в Вяземах, что открывался мне, когда шел сюда по Можайке: и двухэтажное здание, в котором сейчас находимся, и чуть правей красавец-дворец, и хорошо видная церковь Преображения с высокой колокольней и приземистыми службами. Ниже была сама Можайка, на которую въезжала одноконка с возницей и седоком, боком примостившимся на облучке, а перпендикулярно одноконке, по прямой, - полукрытый возок, тоже с двумя людьми, ткнул в овал юношеского

портрета Александра Сергеевича: кудри, высокий лоб, взгляд задумчивых глаз, рука под щекой...

Между двумя повозками на дороге с обеих сторон - то ли деревянные, с тремя стойками ограждения, а то ли все-таки коновязки... Может быть, это и есть подъезд к той самой Ямщине, о которой толковал Володя Семенов?

Конечно, настоящий исследователь непременно узнал бы, и что это за гравюра, и чьей работы этот известный юношеский портрет, да что он собой закрыл: и в самом деле Ямщину?

Но мы с вами, как вы уже поняли, исследуем несколько иное, и находится оно не только в окрестностях Голицына да Одинцова, но по всей матушке-России, и не только в прошлом времени, но и в беспокойном сегодняшнем, которое определяет день завтрашний...

На оборотной стороне билета - адреса Вязем и Захарова с короткой справкой, как туда и сюда добраться уже теперь: какой электричкой, каким от станции автобусом, какой маршруткой. Но посерединке вверху как значок пушкинской эпохи, как один из символов ее - закрытая карета со скачущими двумя лошадьми, натянутые вожжи, которые держит сидящий с поднятым кнутом кучер... Частный рыдван? Или почтовый дилижанс?

- Если нам не удастся в этом году его встретить, будем надеяться на следующий год, - пытался утешить меня Александр Михайлович, протягивая второй пригласительный. - В следующем году у нас юбилей: двести лет, как Мария Алексеевна Ганнибал приобрела усадьбу в Захарове. Большой для нас праздник - готовьтесь тоже!

Чем я и занимаюсь уже несколько лет: только не знал, что к празднику...

Авось дождемся.

Лишь бы овес совсем уже не вздорожал!

«Знаковая фигура»

Спать ложусь с курами, встаю с петухами. Зимой чуть позже - в пять.

Охотно поднимаешься, когда накануне оставил работу на половине строки и хорошо знаешь, как эту строку продолжить.

Но если вчера запнулся и - ни с места?.. Если начинаешь новую главку, и, как ее начать, еще не пришло?

Тогда будильник прозвенит, а ты лишь крепче смежишь веки: еще чуть-чуть продлить сон, еще чуть... Но на самом деле

уже не спишь, а только прикидываешься. Чтобы из ночной чаши, где оно только что свободно разгуливало, выманить подсознание на свет Божий и хоть одним глазком увидеть: что оно такого драгоценного наработало, что никак не хочет тебе отдать?

Своего рода охота.

Скорее, даже рыбалка. На зорьке в далеком детстве, когда взрослые тебя поднять подняли, а разбудить не разбудили, и на бережку, закинув удочку, опять прикорнешь, но в полусонном сознании призываешь безмолвно: видишь - подремываю? Ну, и закуси пока червячком - клюй, клюй!

Но стоит рыбе тебе поверить, как вот она - уже трепещет в траве на берегу... счастливое время!

И перед тем, как эту главку начать, я уже не раз и не два таким вот образом беседовал по утрам со своей золотой рыбкой, в который раз вполглаза просматривая, что было тогда на Пушкинском празднике в Захарово.

А было много чего и умного, и веселого, радостного для русской души, и я предутренними этими просмотрами так увлекся, что однажды вдруг поймал себя: ах ты, бездельник! Да ты ведь просто тешишь себя полусказочными картинками, а работать - не хочешь!

Утро тогда выдалось как на заказ, пора стояла прекрасная, и еще по дороге с электрички через жидкий лесок хорошо видать было, как все преобразилось окрест: там и тут люди в народных костюмах возле автобусов, на которых приехали, шатры, палатки, близкая и далекая музыка, воздушные шары и игрушки...

Может быть, потому-то и появился полусон о рыбалке в далеком детстве, что сам я тогда первым делом на эти игрушки клюнул: завернул как бы мимоходом и засмотрелся на метровую рыбину яркого серебра с голубым отливом - выше остальных игрушек плавно покачивалась. Точно, думаю: куплю-ка я такую потом Василисе - вот будет восторга!

Уже возвращался на дорогу ко входу в парк, как вдруг на сувенирном развале под одним из тентов увидел ковбойскую шляпу из искусственной соломки с надписью на боку: «Мальборо»... Только ее тут и не хватало!

Потянулся, взял, принялся вертеть в руках, но на ней ничего не значилось, и я с невольной строгостью в голосе спросил:

- Кто, скажите, их делает?

- А я почем знаю! - последовал ответ. - Хозяин привез, я торгую, а кто их там!..

Спросить, кто хозяин да нет ли его поблизости?..

И так мне вдруг захотелось найти его.

- Милый мой! - сказать как можно деликатней. - Да знаешь ли, что Александр Сергеевич Америку не любил, мягко говоря...

Ах, «хозяин», «хозяин»!..

С другой-то стороны: вся страна завалена подобным товаром.

На соседнем с твоим домом на Бутырской - уже забыл?

Чуть не во весь шестнадцатэтажный торец висел красочный плакат с этим самым «ковбоем Мальборо», во всей его красе: на лошади и с лассо в руках.

Мы уже успели к нему привыкнуть, как тут приехал ко мне из Брюсселя кубанский землячок, наш «бельгийский казак» Мишель Антон Идвановф - Миша Жданов, на языке родных осин, как говорится, - бывший каскадер и лошажник. С черной повязкой на лице, битый-перебитый, ломаный-переломанный, ушедший поэтому «на пенсию», вышагивал с тросточкой рядом и вдруг остановился как вкопанный, задрал голову. Еще всмотрелся и, будто не поверив себе, протер единственный глаз, спросил удивленно:

- Почему он тут?

- Ну, Миша! - пришлось развести руками. - Тайна сия великая есть. Одно тебе могу сказать: не я его тут повесил...

Он попробовал улыбнуться:

- Я понимаю, не ты... Но, может быть, тут не знают, что он получил рак легких, потому что на этих съемках много курил. Подал в суд на компанию, которая сигареты делает, и выиграл процесс... А что там внизу написано?

- Минздрав предупреждает, - взялся я читать чуть ли не торжественным тоном. - Курение опасно для вашего здоровья!

- А кто такой этот «Минздрав»? - деловито переспросил он.

- Это наше Министерство здравоохранения.

- Но если они знали, почему так поздно его предупредили? - в голосе у него слышалось такое искреннее недоумение. - Может, тогда бы он так рано не умер... Успел бы еще воспользоваться деньгами от табачной компании!

Выходит, что с «хозяина» этой лавочки взять, если хозяева столицы... эх!..

Но не обидно ли будет, если все сейчас напялят на себя эти дурацкие шляпы... Вон уже один идет, да высоченный какой, ну, прямо тебе баскетболист, что с него взять, если так, или, может, это он шляпы рекламирует?

Тогда дело хуже.

В глубине аллеи уже послышалось как бы знакомое пение... казаки поют!

Вот это бы Александру Сергеевичу было по сердцу.

Как непременно поправили бы нынешние казачки: любо!

Подошел, остановился напротив... Донскую поют, да как здорово! Невольно припомнился ни с какими другими не сравнимый для меня мужской ансамбль старых моих друзей...

Опять вслушался, радуясь и природным голосам, и мастерству певцов, а когда закончили песню, обратился к одной из женщин, явно руководительнице, уже самой интонацией как бы отдавая ей должное:

- Вас как звать-то?

- Антонина, - ответила голосом, как бы еще продолжавшим жить в песне.

- А фамилия, Антонина?..

- Емельянова.

- А вы, Тоня, слышали о таком ансамбле - «Казачий круг»?

- С Володей Скунцевым учились на одном курсе! - сказала она, как бы слегка гордясь. И тут же перехватила

инициативу: - Вы слышали, что ему на днях было пятьдесят?

- Ну, как же, как же!

- А на вечере его были? - и повела рукой на своих. - Мы-то вот - все!

Ну, как было не воспользоваться тем, что она невольно подставилась? Казачку да не прихвастнуть!

- А кто на вечере первое-то слово о Володе говорил?

И она всплеснула руками:

- Ой!.. А я все гляжу: знакомый дядечка! Где, думаю...

- Чего ж знакомый? Родня, можно сказать! Если признаете... А то вон как поете хорошо - еще загордитесь!

- Родня, родня! - говорила она, покрасневшись. - Ну, конечно, родня! А то другие нации вон как умеют родниться, а мы все как чужие... Откуда вы?

И я опять будто прихвастнул, произнося ударение на последнем слоге:

- Кубанец!

- Саша! - обернулась она к баянисту. И повела головой на середину хора, призывая запевалу: - Володя!.. А ну, давайте кубанскую...

Стоявший посреди улыбающихся девчат, явно довольных нашей с Антониной беседой, ну, прямо-таки былинный добрый молодец в расписной рубахе откликнулся:

- «И шли тучи...»?

- «И шли тучи...»! - подтвердила Антонина. И, уже приподняв руки, обернулась ко мне:

- Для вас!

Пели они, видать, вообще хорошо, а тут еще в духе: у меня прямо-таки затылок ознобило от всего, что выплыло из

глубоких глубин и к сердцу прихлынуло... Недаром ведь считается, что народная песня соединяет с ушедшими предками: во время пения они нас подпитывают своей силой и волей, а мы тут же в общую-то духовную копилку добавляем свое, чтобы там не убавлялось... Никогда бы не убавилось, эх!

«Ну, спасибо, Александр Сергеич, спасибо! - благодарил я растроганно. - Где бы и когда еще можно встретиться с незнакомыми людьми и так вот сразу родство почувствовать... Ну, потому-то здесь это все и происходит!.. Где русский дух... где «Русью пахнет...» Надо родниться, надо!»

Нынче, как говорится, - край!

К хору «Сударушка» из знаменитого Тучково под Рузой еще вернемся, а пока мне надо было окинуть глазом все остальное, сделать, как говорится, общий проход: куда деваться, если добровольно приписался к здешним народным «пушкинистам», а чуть не детское любопытство, слава богу, еще не оставило!

У простецкого штакетника, которым огорожен «Дом Ганнибалов», уже вытянулась длинная очередь, но внутрь пока не пускали.

- А в чем дело? - спросил уже знакомых охранников.

- Глава беседует с журналистами, видите, сегодня их много...

Сразу несколько видеокамер были направлены на плотного, в рубашке без пиджака, русоволосого главу администрации Одинцовского района Гладышева, и из кармашка сумки я тоже достал свою «мыльницу»... А мало ли? Вон как пригодились, когда отец Ярослав на первом венце освящал начало строительства - у меня теперь чуть не уникальные фотографии!

Главу я видел впервые, хоть приходилось писать о нем в одном из первых рассказов - «В урочный час, в нужном месте»... Там он тогда подгонял не по своей вине запоздавших строителей: надо, мол, успеть закончить «Дом Ганнибалов» до начала юбилейных торжеств. Долг чести!

Тогда они все-таки успели, а за пять лет, прошедших с тех пор, и Захарово, и Вяземы прямо-таки преобразились: заметно всякому, кто тут бывает.

Накануне Татьяна Петровна рассказывала, что в нынешний праздник глава собирается вручить Захарову старинные каминные часы пушкинской поры:

- Когда сказали ему, какие они дорожные, невольно схватился за голову, а потом протянул ладонь позвать руку

Александр Михайловичу: понимаю, что надо. Но давайте-ка будем отрабатывать эти деньги: все вместе!

Пожалуй, в который раз теперь подумалось: в Министерстве культуры зря держат за неумех и лентяев тех, от кого на местном уровне зависит судьба Захарова и Вязем! Может, и правда, пора бы им подсобить?

К радости «народных пушкиноведов».

Гладышев что-то отвечал то одному, то другому интервьюеру, из-за ограды было не слышать что, и я переходил пока с места на место, пытаюсь найти удобный ракурс для съемки: голь на выдумки хитра, и через забор снимем - вдруг тоже потом да пригодится?

Уже не однажды слышать приходилось, что глава Одинцовского района тоже южанин, из Краснодарского края, но откуда именно, расспросить кого-либо знающего так до сих пор и не удосужился. Может быть, тоже - зря?

Узнал бы - глядишь, и в пушкинский венок от кубанских казаков прибавилась бы еще одна сердечная строчка.

Все эти размышления настроили меня на весьма лирический лад, и, когда журналисты с телевидения да радио оставили, наконец, Гладышева в покое, я также все из-за штaketника чуть ли не свойски окликнул:

- Александр Георгиевич!.. А можно попасть к вам на прием писателю из Отрадной?

Гладышев подошел, на ходу вынимая из нагрудного кармашка рубахи визитную карточку:

- Позвоните, договоримся. Все телефоны реальные...

И поднял руку: до встречи, мол!

Я все еще невольно вглядывался в номера телефонов на карточке, когда молодая женщина рядом сказала уважительно:

- Ой, а вы давно у нас живете?.. Мы тоже только с электрички - решили сегодня всей семьей... А что вы пишете?

Пытливо глядел на меня стоявший рядом с ней муж, державший за руки двух симпатичных бутузов.

- Где это «у вас», извините? - пришлось спросить.

- В Отрадном! - ответила она. И кивнула на мужа. - Петр говорит: сколько тут от нас до Захарова остановок? Грех на

такой праздник не поехать!

И тут до меня дошло: Отрадное - железнодорожная станция, рабочий поселок перед Одинцово по дороге к Москве! Скорей всего, что и глава района решил: на прием к нему просится здешний человек, свой...

Название родной своей станицы произносил как вполне понятный всякому кубанцу пароль, а Отрадных-то этих по всей нашей матушке-Руси - пруд, как говорится, пруди, жаль, что жить их насельникам нынче не так уж, пожалуй, и отратно: по своей-то станице знаю точно.

Ну, поговорил с главой, ну, - поговорил!..

Что ж: не будешь думать, что станица твоя - пуп земли. Хорошо еще, что фамилию свою не назвал, а то бы совсем его с толку сбил: по Белорусской дороге, в зоне его ответственности, есть и Немчиновка!

В «Дом Ганнибалов» уже пускали, но заходить не стал - был вчера. По липовой аллее пошел вниз, к мостику, но уже перед ним свернул налево, к бронзовой скульптуре Пушкина-мальчика, сидящего в своем Захарове возле тихой реки. Цветы уже лежали и у подножия памятника, и где только можно - на нем самом: недаром, нет, «с смиренным заступом в руках» «зарю поспешал» сюда Александр Сергеевич, как в «Послании к Юдину», «тюльпан и розу поливать» - вон как все взошло, вон как прямо-таки на нем и цветет!

В полдень тут должен начаться поэтический турнир с участием всех желающих, но уже сейчас на скамеечке сидели двое: пожилой толстяк с носовым платком в руке и что-то быстро писавший в тетрадке на коленях подросток явно поэтической внешности. А между ними лежала американская шляпа...

На памятник быстро положила букетик наученная молодой парой маленькая девочка с пышным голубым бантом, тут же бросилась обратно к родителям, цветы упали, и оторвавшийся в этот момент от творчества, чтобы «поднять очи горе», молодой пиит увидал это и быстренько подошел положить их обратно.

Я не удержался. - Молодец, - сказал мягко. - Ты вот стихи пишешь, хорошо... А ты знаешь, что в одном из самых первых своих поэтических опытов, которые теперь принято печатать в полных изданиях, Александр Сергеевич писал: «не арап, не турок я. За учтивого китайца, грубого американца почитать меня нельзя...». А? - и повел подбородком на шляпу на скамейке. - Понимаешь? Он не любил Америку!

- Я говорил ему, зачем ты ее, - вырвалось у мальчика. - Это дедушка!

- Ну, извини, брат! - сказал я ему. И повернулся к деду мальчика. - И вы уж меня извините...

- Да кто ее теперь любит! - сказал он чуть не возмущенно. - Думал, напечет, вон какое солнце... А ничего другого, как ни смотрел...

Сперва отодвинул шляпу, а потом, мотнув головой, взял и положил с другой стороны от себя: как бы убрал от внука подальше...

«Ну, правильно! - думал я, переходя через мостик. - Правильно, что убрал. Чего ей рядом с мальчиком делать!»

Но чувство недовольства собой подтачивало: ну, что ты всюду суешься! Испортил настроение людям... День, и правда что, жаркий... вообще - июнь! Не черные же цилиндры, какие любил Александр Сергеевич, продавать... Но с другой-то стороны: а что? Может быть, кто-то и купил бы, и положил бы дома на вешалку... На книжную полку, может. Как память. Но при чем тут этот несчастный ковбой, пострадавший от компании «Мальборо»?!

На просторном деревянном помосте с легкой раковинной над ним уже стояли высокие гости, ведущая объявила, что дает слово «благочинному церкви Одинцовского района архимандриту Нестору», и я заспешил к обширной и довольно плотной, празднично одетой толпе, стал, чтобы лучше было слышать, обходить ее сбоку...

- Для Руси и для русских, для русского государства Александр Сергеевич Пушкин - знаковая фигура, - проникновенно и медленно начал архимандрит, и в голосе его зазвучала торжественность, вернувшая благодатную уверенность не только в значительности праздника, которая не должна быть нарушена чужим тлетворным влиянием, но и в святости этих мест вообще... Ну, разве это не так, думал, - разве не так?

Недаром в юношеском отрывке из «Бовы»: «О, Никола!.. Савва мученик!». Косвенное доказательство посещения Саввино-Сторожевского монастыря и прямое - пережитого когда-то детского трепета перед покровителем здешних мест... Пусть будет и «Монах» вначале, и чего только не будет потом, и все же, все же... «Бесить попов не наше ремесло» - сказано вроде мельком, но и с определенностью, уже тогда. Но какая вера там, где о ней вроде бы - ни слова... «преданья старины глубокой»!.. А что такое предание?.. Как там у Григория Паламы, одного из первоучителей и толкователей знания о Божественной энергии: «традиционализм - передача предания от первоисточника к поколению».

Сгусток Божественной энергии - вот что такое предание. Тоже способ общения с ушедшими предками. Как и в старинной песне!

Невольно стал продвигаться поближе к стоявшим в ожидании своей очереди живописными группками самодеятельным артистам.

- Откуда будем? - спрашивал полушутливо.

- Ансамбль «Зоряночка»... Из Назарьева.

Переходил к другим:

- А ваш хор как звать-величать?

- «Калина»...

- Откуда здесь?

- Дворец «Мечта». Одинцово...

И вдруг:

- Что ж вы своих-то не узнаете?..

Русская красавица в роскошном кокошнике... Где же виделись, где?

- Да ведь Валя, Валя... Ну?

- Валентина Петровна! Вот грех-то...

- Да что вы: может, и правда разбогатею?

Уж не то что разбогатеть - хоть бы зарплату в Звенигороде, в музыкальной школе ей, умнице и добрячке, прибавили!

Нашего внука Глебку учит на баяне играть.

- Значит, и ершовские тут? - спрашиваю.

- А как же! - степенно отвечает женщина чуть постарше, но в таком же наряде. - Хор «Русская народная песня». Из Ершова!

- На репетицию тогда и спешила! - чуть ли не виновато припоминает Валентина Петровна, которая однажды во время разговора с нами в «музыкалке» всплеснула вдруг руками, поглядев на часы, и опрометью кинулась к раздевалке. Хорошо, что не замешкался подать ей пальто - и правда бы, без него убежала. - К нам только один вечерний автобус, вы

представляете?

Чего ж не представлять: сами так живем - в Кобяково.

- А захаровский хор тут есть? - спрашиваю Валентину Петровну.

- А как же! - и окликает стоящих неподалеку красавиц уже в ином «оперении». - Галя, подойдешь? И ты, Валя...

- Так вы все тут друг дружку знаете?

- Да на праздник же иногда вот так съедемся... Как не запомнить, если такие голоса Бог дает!

Припомнилось вдруг знаменитое Михайловское, его удивительные концерты из русской классики с участием артистической столичной элиты... А здесь так.

Пока - так?

А, может быть, только так тут и надо: детство Пушкина и детство самой Руси.

- А мы из «Герцена»! - звонко сказали рядом, и будто что чужеродное резануло ухо.

- Откуда-откуда? - переспросил я невольно.

- Поселок Четвертого главного управления Кремлевской больницы, - прямо-таки отработовала совсем молоденькая девчонка. - Санаторий имени Герцена...

- А хоть песни-то поете народные?

- Еще как поем! - уверила она. - Подождете - услышите...

Да-а, невольно подумалось. Может, только Александр Иванович, звавший в своем «Колоколе» Русь к топору на денежки Ротшильда, и рад был бы тут ковбойским шляпам... Или уже и Герцен бы теперь тяжело вздохнул?!

Пошел на Пушкинскую поляну с народными играми посредине, с поединками ребятишек на резиновых мечях, с шумным перетягиванием каната, с бегом в мешках под общий хохот... Веселье было такое искреннее, лица такие открытые и чистые, что все это и в самом деле напоминало добрую сказку... Стреканет сейчас по краю поляны и

шмыгнет в кусты заяц, выпущенный из мешка неунывающим Работником, а за ним пронесется запыхавшийся бес в шляпе «Мальборо»... Давай подалее от нас, лукавый друг Джордж!

Работники в фартуках и с тесемкой на лбу, чтобы пот глазам не мешал, сидели кто за гончарным кругом, кто за деревянной резьбой или кузнечным ремеслом, а вокруг них толпились не только ребяташки, но и молодежь, и люди постарше...

По краю обширной поляны стояли также столы с выставкой искусных ручных поделок, изготовленных учениками окрестных школ, и среди них вдруг - неожиданный развал почти беспомощных сувениров, которые делают дети-инвалиды - с табличкой, что деньги пойдут на их нужды...

«Купите нас! - прямо-таки кричали трогательные фигурки. - Ну, помогите!..»

Тут честная бедность сама себя не стеснялась.

Как жаль, подумалось, что многие оставляли малые свои карманные деньги у входа, где стояли коммерческие ларьки и палатки...

Как хорошо, что места на самой Пушкинской поляне им не нашлось!

Для своего друга черкеса купил на «инвалидном» развальчике ярко раскрашенную в небесный цвет глиняную фигурку Снегурочки: пусть в будущем году приведет его с юга на юбилейный праздник в северное наше Захарово!

Напишу ему, что это за фигурка, кем сделана: он поймет.

Успел приметить, что лица и молодых, и постарше них участников праздника озарены сегодня как бы особенным светом, и скоро получил очень серьезное подтверждение этому, если хотите - строго научное...

Прямо-таки пошел на сияющий добром взгляд высокого ростом, худощавого человека приятной наружности, шедшего по поляне в окружении длиннющих подростков чуть ли не с такими же восторженными глазами: кто такие, любопытно? Откуда сюда приехали?

Оказалось, Виктор Максимович Чаругин, профессор астрофизики из Московского педагогического государственного университета, привез своих питомцев из-под Звенигорода, где они, пока школьники, жили своим летним «астрономическим» лагерем на базе обсерватории Академии наук в Луцино.

- Гляжу, необычные ребята,- сказал я.

Профессор понимающе и, как показалось мне, чуть печально улыбнулся:

- Поверьте: просто нормальные.

Тут же стайкой от нас унеслись, стайка быстро распалась надвое и начала перекрикиваться друг с дружкой по разные стороны и без того уже многолюдного «каната»...

Кто из нас юношескую любовь к морю не делил с астрономией?

Пылкая эта любовь заставила меня уже в очень приличном возрасте, давно за сорок, отправиться из Москвы почти в родные места - под Архыз за станицей Зеленчукской, где на «двухтысячнике», на горе Пастухова, стоит гордость отечественной науки: БТА - большой телескоп азимутальный...

Посмеиваясь, рассказал об этом профессору, и он зажегся:

- В таком случае имейте в виду: во вторник мы будем иметь возможность наблюдать прохождение Венеры по диску Солнца... Это открытие нашего Михайлы Васильевича, да, он сделал его в 1761-м году. Императрица Екатерина почла потом своим долгом наблюдать его, есть старинная картина с этим сюжетом...

- Спасибо, спасибо, - говорил я растроганно. - Очень любопытно...

- Может, в таком случае как-нибудь откроете журнал «Физика», там есть раздел: «Астрономические вечера профессора Чаругина»...

Прощаясь, вместо современного краткого «спасибо» я искренне сказал ему: спаси, Господи, Виктор Максимович! Спаси, Господи, профессор!

За свет в глазах.

За этих ребяташек с отблеском такого же света...

Хорошо, что подошел к нему!

Чего только нынче о нас не говорят и мы не говорим друг о друге... Но не пройдем ли мы так однажды мимо того самого

человека, которого Николай Васильевич ожидал в России через двести лет после Пушкина?

Помните?

«Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа. Это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет».

Время пришло!

Может быть, кто-то пытается от нас это скрыть?

Или мы сами его пока не узнали?..

Когда шел обратно, турнир поэтов был, кажется, в самом разгаре. Тонким голосом стихи читала розовая от смущения худенькая девочка с толстой косой через плечо. Обеими руками придерживала ее на груди, согласно ритму слегка покивывая, а напротив ей в такт решительно мотала головой счастливая мама. Снисходительно поглядывали на обеих стоявшие отдельной кучкой неподалеку пожилые мужчины с профессионально задранными кверху подбородками и значительностью на лицах, судя по всему - здешние мэтры, настолько знакомые с Захаровом, что не стали даже привязывать своих поэтических лошадок к липам либо березам, а просто отпустили их попасться. Стоит свистнуть, и к каждому его Пегас послушно вынесется...

Сложив руки на груди, поглядывал по сторонам Михаил Сергеевич Гладилин, благообразный, с ухоженной бородкой молодой научный сотрудник Захаровского музея. Остановился рядом, и он сказал:

- Поэты из Санкт-Петербурга впервые приехали...

- Лиха беда - начало, - как бы поддержал я общие надежды на будущее здешнего праздника.

Глянул на скамейку и с краю увидел одиноко лежавшую на ней американскую шляпу: неужели та самая?!

Видно, Михаил Сергеевич перехватил мой взгляд, но будто бы сам себе проговорил:

- Думал, забыли, потом гляжу - никто за ней не возвращается. Скорее всего, ее просто бросили...

И я поднял палец:

- Вот!.. Как там у Александра Сергеевича насчет американской демократии?

Не мог, признаться, предположить, что любимый конек Гладиллина тоже мирно пасется неподалеку.

- Что вы имеете в виду? - спросил с интересом. - Если черновик письма к Чаадаеву, там вот. О государе Николае Павловиче: «Первый воздвиг плотину, очень слабую еще, против наводнения демократией, худшей, чем в Америке»... Вы об этом?

И я почувствовал некоторую, скажем, скудость или, если хотите, ограниченность народного пушкиноведения: в своем лице.

- Признаться, я другое...

- Если о мемуарах Анненковой, - Вера Ивановна сообщает, что во время общего разговора у великой княгини Елены Павловны Александр Сергеевич... это дословно. Якобы сказал: «Мне мешает восхищаться этой страной, которой теперь принято очаровываться, то, что там слишком забывают, что человек жив не единым хлебом». Как понимаете, это больше цитация Веры Ивановны, но суть, суть... Или вы о том, что американская демократия - мертвечина?

- Как раз об этом: имел в виду свидетельство Гоголя...

- Это лучше по первоисточнику! - и Гладиллин развел руками. - В точности повторить Николая Васильевича!..

«В точности» я потом тут же нашел дома в Кобякове и приник к тексту глазами с чувством того самого «глубокого удовлетворения», помните?

Приходит оно и сейчас к нам - бывает!

Размышления Пушкина о самодержавии и роли монарха со слов Гоголя: «Зачем нужно, - говорил он, - чтобы один из нас стал выше всех и даже выше самого закона? Затем, что закон - дерево; в законе слышит человек что-то жесткое и небратское. С одним буквальным исполнением закона недалеко уйдешь: нарушить же или не исполнить его никто из нас не должен; для этого-то и нужна высшая мудрость, умягчающая закон, который может явиться людям только в одной полномочной власти. Государство без полномочного монарха - автомат: много-много, если оно достигнет того, до чего достигли Соединенные Штаты. А что такое Соединенные Штаты? Мертвечина; человек в них выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит. Государство без полномочного монарха - то же, что оркестр без капельмейстера: как ни хороши будь все музыканты, но, если нет среди них одного такого, который бы движеньем палочки всему подавал знак, никуда не пойдет концерт. А кажется, он сам ничего не делает, не играет ни на каком инструменте, только слегка помахивает палочкой да поглядывает на всех, и уже один взгляд его достаточен на то, чтобы умягчить, в том и другом

месте, какой-нибудь шершавый звук, который испустил бы иной дурак-барабан или неуклюжий тулумбас. При нем и мастерская скрипка не смеет слишком разгуляться на счет других: блюдет он общий строй, всего оживитель, верховодец верховного согласия!» Как метко выразался Пушкин! Как понимал он значение великих истин!»

Почему, кроме прочего, люблю этот достаточно длинный отрывок перечитывать - в нем мерещится отблеск одной давно занимающей меня мистической тайны...

В двадцатых годах девятнадцатого века в Санкт-Петербурге появился молодой чиновник Иван Тимофеевич Калашников, родом иркутянин, которому суждено было стать первым сибирским романистом. Ранние его книги - «Дочь купца Жолобова» и «Камчадалка» - вызвали в литературных кругах реакцию неоднозначную. «Неистовый Виссарион» Белинский не оставлял от его сочинений камня на камне.

Но вот письмо Пушкина, датированное апрелем 1833 года:

«Искренно благодарю Вас за письмо, коего Вы меня удостоили. Удовольствие читателей, коих уважаем, есть лучшая из всех наград.

Вы спрашиваете моего мнения о «Камчадалке». Откровенность под моим пером может показаться Вам простою учтивостию. Я хочу лучше повторить Вам мнение Крылова, великого знатока и беспристрастного ценителя истинного таланта. Прочитав «Дочь Жолобова», он мне сказал: ни одного из русских романов я не читывал с большим удовольствием. «Камчадалка», верно, не ниже Вашего первого произведения. Сколько я мог заметить, часть публики, которая судит о книгах не по объявлениям газет, а по собственному впечатлению, полюбила Вас и с полным радушием приняла обе Ваши пьесы...»

Пожалуй, можно понять, как старался наш сибиряк, недавний провинциал, быть на уровне духовных запросов того времени, тем более, что сам он был человек не только благонравный - глубоко религиозный...

И какой роман он вскоре напишет?

В 1841 году Иван Тимофеевич Калашников издаст роман «Автомат».

«Одна идея бессмертия держит порядок общественного устройства, с которым сопряжено не только развитие умственных сил человека, но и само существование его», - так рассуждает наш сибиряк устами одного из героев романа.

А вот какой сон снится главному герою, мятущемуся и гонимому Евгению:

«В руках его была мертвая человеческая голова. Разбирая ее нервы, профессор доказывал материальность душевных

явлений, скотоподобность человека...

- Итак, - говорил профессор, - нет более сомнения, что человек есть автомат. Великие учителя Германии наконец открыли глаза слепому человечеству. Отныне обязанностью человека должно быть наслаждение, целью его действий земное блаженство, его собственное «я». Прочь добродетель, любовь к ближним, великодушие. Нам нечего думать о других: жизнь нам дана для нас. Поспешим ею воспользоваться вполне.

- Злодей! - вскричал с гневом Евгений. - Это ли ты называешь философией? В том ли состоит премудрость, чтобы отвергать все то, что возвышает человека над материальным миром и приближает его к Богу?

- Друг мой, - отвечал профессор с ужасным равнодушием. - Ты горячишься, потому что еще я не показал тебе истину лицом к лицу. Подойди ближе. Укажи мне на любого из этой толпы, и ты увидишь своими глазами справедливость моих слов. - После того профессор подозвал одного из слушателей, снял с него волосы и, нагнувши его к Евгению, сказал ему:

- Смотри!

Евгений с ужасом видел, что голова слушателя была алебастровая. Он решился постучать в нее рукою. Звук подтвердил виденное глазами. Профессор молча опять надел волосы на голову слушателя и с адским самохвальством сказал трепещущему Евгению:

- Вот плоды исследований девятнадцатого века!

- Боже милосердый, ужели так созданы все люди?

- Все! - с торжественным видом подтвердил философ. - Все и ты сам. - Он поднес к Евгению зеркало, и Евгений увидел с трепетом, что и его голова была также алебастровая. - Благодарю, что я открыл тебе глаза!»

Дело вообще-то любопытнейшее.

«Мы стоим посреди неизмеримых бездн пространства и времени, - рассуждал сам автор. - Там и тут проникают только одне догадки».

Вот - догадывайтесь!

Есть ли связь между «Автоматом» Ивана Тимофеевича Калашникова, появившимся в 1841 году в Санкт-Петербурге, и его стальным собратом «АК-47» Калашникова Михаила Тимофеевича, век спустя заявившим о себе сперва на полигонах

Советского Союза, а после - по всему миру?..

Но прозрения насчет алебастровых голов, открытых немецким профессором, и «мертвечины» отвергнутой Пушкиным американской демократии не только очевидны, но даже как бы и взаимно связаны!

Да простит мне читатель эти размышления, не исключаю, так и не вызревшие ни под скупым солнышком подмосковного Кобякова, ни под щедрым жаром на юге... Но разве не над чем тут поразмышлять?

А тогда я шел по главной аллее и снова услышал уже знакомые голоса ансамбля «Сударушка»...

Снова пели кубанскую, «Полно вам, снежочки, на талой земле лежать», но в таком быстром темпе, что ясно было: под нее уже пляшут.

Плясали донские казаки. Фуражки с синим околышем, брюки с лампасами такого же цвета в хромовых сапогах, гимнастерки с крестами на груди - что же это за казак да без орденов?.. Но заворачивали такие колени, что за одно это наградить можно: ах, молодцы!

Старался баянист Александр Гурин, руководительница хора Тоня Емельянова и запевала Владимир Шатских, продолжая песню, притопывали возле цепочки своих, а центр аллеи и противоположная сторона заняты были азартно пляшущими вместе с казаками молодыми женщинами... Остановились, наконец, дух перевести, уф!

Я тут же - со своим любопытством: мол, кто такие? Откуда?..

Помалкивали, поглядывая на старшего, и тот оправился не торопясь, приосанился и, конечно же, тронул шашку на боку и разгладил усы:

- Подьесаул Николаевцев Борис Александрович. Руководитель донского ансамбля «Сувенир» - Кубинка!

- Вон как! - сказал я уже не без некоторой зависти: донцы, выходит, по полной форме на Пушкинском празднике отметились, а наших кубанских черкесок не видать. - А я гляжу, «Сударушку» поддерживаете...

Подьесаул повел подбородком на тучковский хор:

- Эту «Сударушку» нечего поддерживать - она сама кого хошь поддержит. А мы вот этих московских «сударушек» - вроде в пляс пошли и вдруг заробели... Вы что, девчата?

Протягивал руки, оборачивался, и лишь тут я увидел, что молодые женщины, только что лихо плясавшие с донцами, как бы возвращаются в привычное для них состояние тихих городских мышек...

- Мы не московские, - негромко сказала одна.

- А откуда?

Опершись на подружку, сняла с ноги лакированную туфлю и шатнула туда-сюда сломанный каблук.

- Из Риги, вот...

- Из Ри-иги? - протянул есаул. - Но русские, видать?

- Русские, - поспешила сказать другая.

Эта, с туфлей в руках, согласилась, но заодно будто и поправила:

- Русские. Но...

- Какие могут быть «но», если - русские? - с грозой в голосе сказал есаул, но ясно было, что гроза эта благодатная, как бы гроза-защитница.

- А я латышка, - объявила самая, пожалуй, из них молоденькая и самая бойкая на вид.

Какие-то они были одинаковые: почти все беленькие и бледные - румянец, все еще игравший на лицах, белизну эту как будто подчеркивал.

- Была? - уточнить решил есаул. - Или стала?

- И была, и стала, но - не хочу, - сказала она решительно.

- Доболтаешься, - миролюбиво одернула ее эта, с туфлей в руке. И объяснила есаулу: - За наши права дите борется!

И так уж это у нее прозвучало по-русски, по-деревенски, простецки: дите.

С есаулом и с его ансамблем медленно продвигались через разлившуюся по площади за оградой, кишевшую ватажками

и потерявшимися одиночками толпу: официальные торжества закончились, свое начинали брать ларьки с крепкими напитками...

Звонко выплеснулась лихая частушка:

Не ругайте вы меня, а ругайте мамку -

Она меня родила, такую атаманку!

Кто-то из «Сувенира» определил:

- Ершовские загуляли!

Другой откликнулся ему в тон:

- Это у них там в сорок первом казачки - с клинками на танки! Они такие, ершовские...

Знают они друг дружку - знают!

Я слегка наклонился, попробовал взглянуться в шашку на боку Бориса Александровича, и он понял, приподнял ножны:

- Без нужды не вынимай - без славы не вкладывай, так, да?.. Хвастать не буду, но она у меня одна тысяча восемьсот девяносто первого года. Земляки подарили...

- Не отрываетесь от родины?

- Ансамбль так и зовем: донской! Нельзя нынче отрываться!

- Никак нельзя!

- Вон эти, рижанки, - вздохнул Борис Александрович. - Правда, они не сами, их оторвали... Пошли в пляс и тут же смутились, стали...

- Молодцы, что поддержали их!

- Да как не поддержать?

- Между прочим, ваши ребята опять разлетались? - спросил. - Выхожу на крыльцо, а они - ну, прямо над головой...

- «Стрижи»-то наши, стрижи? - не только повеселел есаул - как бы даже слегка загордился. - Говорят, завезли к нам горячку, да... Хорошо завезли! Зарплату ребятам поприбавили - опять мы летающие казаки!

- Слава богу! - сказал как бы обычное, но Николаевцев так истово перекрестился, с такой суровой верой стали осенять себя крестным знаменем его соратники, что я тоже хоть запоздало, но твердо понес ко лбу щепоть...

- Даст нам Бог, да-аст! - уверенно проговорил есаул.

Купил Василисе метровую серебряную рыбу с голубым отливом - наполненная гелием, высоко покачивалась на длинном шнурке. Поглядывал на нее, раздумывая, как легче с ней в электричке, как потом пойду через лес...

Рыба, рыба - символ раннего христианства.

Вспомнил крестившего внуку в монастыре с особой торжественностью отца Феофила, вспомнил семитомный его, подаренный нам «Букварь» с надписью: «В народе говорят: терпи казак, атаманом будешь. Терпите и атаманы - христианами станете! Терпите и молитесь».

Как хорошо, что был нынче не в дороге, не на Кубани или в Сибири - был тут...

Не приехал черкес-кунак - ну, да все еще, будем надеяться, впереди.

Накануне разговорился с его учительницей «русского языка и литературы», можно считать, с Еленой Петровной Шибинской, которая работала когда-то в педагогическом училище, куда приехал Юнус поступать из своего Гатлука... Давно кандидат филологии, профессор, преподает теперь в Адыгейском университете, а все скает глаз со своего ученика и питомца: первая читает его, первая о нем пишет. Да с какой любовью и пониманием!

Моя учительница так и живет в станице, видется с Юлей Филипповной приходится редко, и частицу уважительной и благодарной любви к ней как бы перенес на Елену Петровну, с которой приходится часто разговаривать, обсуждать общие с ней теперь литературные дела.

Как-то, рассуждая о «Вольном горце», сказал ей: если бы лет пятнадцать-двадцать назад кто-нибудь сказал мне, что стану писать о Пушкине, - и правда бы, не поверил. Не тот у меня для этого «послужной список»: сибирская стройка с «р-рабочими» романами, южная кубанская проза, московское житье, в котором отводил душу то с казаками-

фольклористами, то с осетинскими джигитами, цирковыми наездниками... Нет-нет да - «отхожий промысел» где-либо в Череповце, в Ижевске, в Старом Осколе. Что еще? Что я - толмач-переводчик с черкесского?.. И вдруг, вдруг!

- Да ведь знаете, как бывает, - с какой-то сокровенной ноткой ответила Елена Петровна. - Живет себе человек, живет. О Боге вроде не думает. А потом вдруг однажды в церковь идет и крестится: созрел. Считайте это своим литературным крещением!

Может быть, и поздновато, да что ж теперь: так случилось.

И эти люди, пришедшие сегодня на Пушкинский праздник, приехавшие кто издалека, а кто не очень - может быть, они тоже, сами того не ведая, нынче окрещены как бы заново?

А то ведь перед этим - все о Кавказе, о пушкинском миссионерстве там...

Самой России, Руси нынешней, так давно уже надо торжественно и самозабвенно заново окунуться в пушкинскую купель!

Хотел было шагнуть к тому ларьку, где продавались, будь они неладны, эти ковбойские шляпы, поинтересоваться, бойко ли шла торговля, а потом вдруг остановился: еще чего!..

Посмотрел на Василискину рыбину, которая покачивалась себе, как маленький дирижабль: ей все там небось видать сверху...

Но и так, самому, сколько в море голов ни вглядывался, ничего похожего не увиделось...

Так и должно было.

Сам здешний дух заставил снять чужую шляпу.

Перед своим Гением.